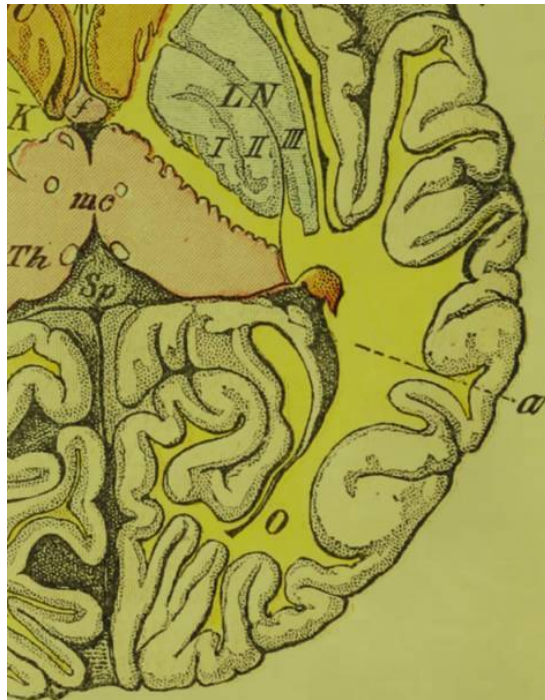


ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ “БОЛЬШАЯ КНИГА”

Марина
Степнова

БЕЗВОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Роман



Марина Степнова
Безбожный переулок

«Издательство АСТ»

2014

Степнова М. Л.

Безбожный переулоч / М. Л. Степнова — «Издательство АСТ»,
2014

ISBN 978-5-17-086958-9

Марина Степнова – автор громко прозвучавшего романа «Женщины Лазаря» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА», переведен на многие европейские языки), романа «Хирург», серии отменных рассказов, написанных для журнала «Сноб». Главный герой новой книги «Безбожный переулоч» Иван Огарев с детства старался выстроить свою жизнь вопреки – родителям, привычному укладу пусть и столичной, но окраины, заданным обстоятельствам: школа-армия-работа. Трагический случай подталкивает к выбору профессии – он становится врачом. Только снова все как у многих: мединститут – частная клиника – преданная жена... Огарев принимает условия игры взрослого человека, но... жизнь опять преподносит ему неожиданное – любовь к странной девушке, для которой главное – свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни...

ISBN 978-5-17-086958-9

© Степнова М. Л., 2014

© Издательство АСТ, 2014

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	42
Глава 4	50
Глава 5	72
Глава 6	95

Марина Львовна Степнова

Безбожный переулочок

Роман

Глава 1

От Мали осталась только баклева.

Никто не знал, что это такое. Но вкусно.

Сто грецких орехов (дорого, конечно, но ничего не поделаешь – праздник) прокрутить через мясорубку. Железная, тяжеленная, на табуретке от нее предательская вмятина, ручка прокручивается с хищным хрустом, отдающим до самого плеча. Когда делаешь мясо на фарш, разбирать приходится минимум трижды. Жилы, намотавшиеся на пыточные ножи. Но орехи идут хорошо. Быстро.

Калорийных булочек за девять копеек – две с половиной.

Смуглые, почти квадратные, склеенные толстенькими боками. Темно-коричневая лаковая спинка. Если за 10 копеек, то с изюмом. Ненужную половинку – в рот, но не сразу, а нежничая, отщипывая по чуть-чуть. Некоторые еще любят со сливочным маслом, но это уже явно лишнее. Смерть сосудам. На кухню приходит кошка, переполненная своими странными пищевыми аддикциями (зеленый горошек, ромашковый чай, как-то выпила тайком рюмку портвейна, наутро тяжело страдала). Почуяв изюм, орет требовательно, как болотный оппозиционер. Приходится делиться – но ничего, без изюма калорийные булочки даже вкуснее. Теперь таких больше не делают, а жаль. И кошка давно умерла.

Булочки надо перетереть руками, поэтому важно, чтобы были вчерашние, чуть подсохшие. Еще важнее не забыть и не слопать их с утра с чаем. Потому в хлебницу их, подальше, подальше от греха. Чревообъедение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Святитель Игнатий Брянчанинов. Бряцающий щит и меч святости. Прости мя, Господи, ибо аз есмь червь, аз есмь скот, а не человек, поношение человеков. Приятно познакомиться. Мне тоже. Протестанты, кстати, заменяют уныние ленью – и это многое объясняет. Очень многое. Ибо христианин, которому запрещено унывать, не брат христианину, которому запрещено бездельничать. И перерезанных, замученных, забитых во имя этого – легион.

Аминь.

Конечно, булочки – это условность. Позднейшая выдумка. Чужие каляки-маляки поверх строгого канонического текста. Маргиналии на полях. Изначально был только мед, грецкие орехи, анисовые семена. Мускатный орех. Булочки приблудились в изгнании, да и не булочки, конечно, – хлеб. Вечная беднота. В ДНК проросший страх перед голодом. Супермаркеты Средиземноморья до сих пор полны сухарями всех видов и мастей. Рачительные крестьяне. Доедаем все, смахиваем в черствую ладонь даже самую малую крошку. А эти и вовсе были беженцы без малейшей надежды на подавание. Какие уж тут булочки? Ссыпали в начинку все объедки, которые сумели выпросить или найти. Радовались будущему празднику. Готовились. Волновались.

Это мама придумала добавлять булочки? Мамина мама, может быть? Она говорила? Ты помнишь?

Смотрит в сторону. Ничего не говорит. Опять.

Ладно. Тогда варенье из роз.

Когда-то достать было невозможно в принципе. Только обзавестись южной родней, испортить себе кровь и нервы всеми этими хлопотливыми мансами, истошными ссорами

навек, ликующими воплями, внезапными приездами всем кагалом или аулом (в понедельник, без предупреждения, в шесть тридцать утра). А Жужуночка наша замуж вышла, ты же помнишь Жужуну? Не помню и знать не хочу! Но вот из привезенного тряпья, из лопающихся чемоданов с ласковым лопотанием извлекается заветная баночка. Перетертые с сахаром розовые лепестки. Гладкая, едкая горечь. Вкус и аромат женщины. Но неужели нельзя было просто посылкой, божежтымой?!

Варенья из роз нужна столовая ложка – не больше, потому что...

Черт. Телефон.

Да, здравствуйте. Нет, вы поняли совершенно неправильно. В вашем случае уместнее три миллиона единиц, а не полтора. Нету? Значит, придется два раза по полтора. Сами знаете куда. Сочувствую.

Да. До свидания.

Итак, розы. Надо сразу признаться, что никакой южной крови и родни у меня нету. Я настолько русский, что это даже неприятно. Чистый спирт, ни на что совершенно не употребимый. Даже на дезинфекцию. Чтобы выпить или обработать рану, придется разбавить живой водой. Иначе сожжешь все к чертовой матери. В девяностошестипроцентной своей ипостаси спирт годен разве что для стерилизации. Неприятно осознавать себя стерильным. Неприятно осознавать себя вообще. Хоть капля другой крови придавала бы моей жизни совсем другой смысл. Но – нет.

Позвольте представиться – Огарев Иван Сергеевич.

Нет, не родственник того и не товарищ – этого.

Иван Сергеевич – тоже всего лишь пустая реминисценция.

Я врач.

Всего-навсего врач.

* * *

Еще в баклеву кладут вишню. Вернее, вишневое варенье, и тоже особое – без косточек и без сиропа, практически сухие, темные, гладкие ягоды, плотно заполнившие литровую банку. Одна к одной. Косточки вынимали шпилькой. Помните, были такие? Изогнутая английской буквой U проволочка, чуть волнистая, с крошечными шариками на острых концах – чтобы не поранить тонкую кожу. Вскинутые локти, быстрые движения слепых пальцев, укладывающих на затылке узел, птичий наклон головы. Коса. Пробор. Завитки у низкого нежного лба и сзади, на шее. Быстрый невнятный вопрос сквозь смеющиеся, стиснутые в зубах шпильки. Прекраснее женщины, которая поправляет прическу, только женщина, в которую ты влюблен. Как жаль, что они все стригутся теперь, дурочки.

У Мали были длинные волосы. Сама Маля – была.

Чистить вишни долго – кропотливая работа, лучше вдвоем, а то и втроем – и все равно перепачкаешься по уши, сок потом не вывести ничем, уйди, не вертись без конца среди женщин, ты же мальчик, как это ничем, дорогая, если отлично выводится? Ну, знаешь, берешь пол чайной ложки лимонки...

Я бреду, то и дело оглядываясь и нарочно волоча ноги, загребая сандалиями песок, сухую хвою, липкие невидимые призраки будущих маслят – чужая подмосковная дача, хрупкие деревянные стропила прошедшего детства.

Я – мальчик. Меня – выгоняют. Мне – отказывают.

Я уже понимаю, что это – трагедия, но еще не догадываюсь, что так будет всегда.

Выпотрошенные вишни кладут в таз – большой, медный, с деревянной ручкой – и варят по новой для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Помните, в «Анне Карениной»? Да нет, откуда вам помнить... Женское общество на террасе, шитье распашонок, вяза-

ние свивальников. Беременная Кити. Анковский пирог. Лимоны, сливочное масло, ненависть – прямо с погребца, похолоднее. Знал ли бедный Николай Богданович Анке, милейший доктор, профессор Московского университета по кафедре фармакологии, общей терапии и токсикологии, тайный советник, род. в Москве, в купеческой семье, 6 декабря 1803 г., ум. в том же городе 17 декабря 1872 г., что пирог по его рецепту обретет такое страшное бессмертие? Любовь Александровна, в девичестве – о, эта музыка незаконнорожденной страсти! – Иславина, в замужестве – о, эта черствая проза супружества! – Берс. Дражайшая и вечно беременная супруга Андрея Евстафьевича Берса, тоже врача.

Коллеги. Ядовитое братство.

Ваша точка зрения не выдерживает никакой критики, батенька. Ваша практика – заноза в моей заднице. Ваш успех – результат прискорбной глупости публики, доверяющей самое ценное, что у нее есть, – собственное здоровье – невежественным шарлатанам. Вы прескверный диагност. Но когда настанет ваша очередь умирать, принимать мелкими глотками (до, и после, и вместо еды) свою порцию земных страданий – мы все соберемся у вашего скорбного одра, все, все до одного, и, сдвинув лысые лбы и потрепанные крылья, будем лечить самоотверженно, истово, ни на что не надеясь, и все-таки молясь, и не беря платы, нет, нет, со своих мы мзды не берем, за своих стоим на коленях бесплатно, потому что нас и так слишком мало, ничтожно мало, настоящих, избранных жрецов истинного бога. Врачей.

Тридцать минут. Тридцать пять.

Качайте вы, коллега, я больше не могу.

Сломанные во имя ускользающей жизни ребра. Замершее сердце. Черные круги. Ледяной пот вдоль спины. Терапия отчаяния. Никаких признаков жизнедеятельности. Мозг умер, когда мы еще и не начинали.

Все равно качайте!

Поздно. Умер.

Поджарен на вертеле за неверный диагноз, убит осатанелой невежественной толпой, отравлен выпитым залпом холерным вибрионом, заражен пациентом, выжжен дотла, забит холестериновыми бляшками, изрезан, истерт до дыр непосильной ответственностью.

Служил, как медный котелок, – пока не прохудился.

Нимбы долой, коллеги! Не стало еще одного врача.

Черт, ну куда же меня опять занесло? Простите.

Итак, Николай Богданович Анке. Анковский пирог. Рецепт, продиктованный Любви Александровне Берс, теще Толстого (Льва Николаевича, разумеется, два других не в счет). Записывала, высунув от усердия черный язык. Что у вас такое с языком, Любочка? Уголь. Березовый уголь. Брала серебряными щипчиками из специальной шкатулки, глотала, давясь, – скрип на зубах, антрацитовая крошка, круговорот углерода в природе, черные страдающие глаза, худоба. Когда-нибудь мы все снова будем алмазами. Через миллион или более лет. А почему же уголь-то, что за странные пристрастия? Восемь детей. Старый любвеобильный муж. Токсикоз. Бесконечный токсикоз. Уголь – всего лишь тихий вариант ненормы, другие на сносках уписывают сырую штукатурку, ломкие карандашные грифели, даже глину. Мать как-то призналась, что, когда ждала меня, ела мыло – глицериновое, полупрозрачное, зеленое, как бутылочное стекло. Один-единственный, почти круглый, обкатанный, как голыш, кусок. Чей-то подарок. Импортное. Эра всеобщего дефицита. Экономила так, чтобы хватило на весь срок. Скребла, нежно нажимая, передними зубами. По-мышинному точила. Завязывала что-то внутри себя, строительствовала, порождала. Интересно, на что пошло это мыло, что из него стало мной? Кровеносные токи? Костяк? Душа, мыльная, неверная, солоноватая на вкус?

Когда б вы знали, из какого сора.

Варенье для баклевы – то, что из «Анны Карениной», без воды, – тоже готовится по анковскому рецепту.

Вы не любите Толстого?
Вы ненормальный.

* * *

Мама варила совсем другое варенье – хотя тоже из вишни, кислой, подмосковной. Владимирская, шесть рублей ведро. Красная приторная жижа с редкими ягодами закатывалась в литровые и полулитровые банки. Это на зиму, не хватай! Мне доставались только пенки. Розовые, ноздреватые, словно стремительно застывающая мягкая пемза. Помните? Как они будут лизать это с чаем! Отец предлагал дождаться ужина, не жадничать – ну что ты за свиненок, в конце концов? Иди вымой руки, лентяй. Никогда ничего путного из тебя не выйдет. Приходил с работы, долго сидел в спальне в спущенных по щиколотки штанах, смотрел в стену, переживая какие-то свои взрослые, невиданные, неведомые неудачи. Потом шел на кухню и ел гречневую кашу, граненую, гнедую, прикусывая вместо хлеба кругляшом розовой докторской колбасы. Мне такого не давали. То есть давали, конечно, – но колбасу нельзя было есть как хлеб. И вместо хлеба тоже. Только – вместе. Считанные игрушки, потрепанные книжки, брюки, из которых я выросал прежде, чем очередная получка добиралась до заветного кассового оконца отцовского завода.

Аскетический, выверенный инструментарий советского детства.

Ты уроки сделал?

Нет еще.

Ну что ты за лодырь, а! Непонятно только в кого. А хлеба купил?

Я стоял столбом, ожидая выдачи мелочи, – скомканная в кулаке авоська, ссаженные коленки, растоптанные бурые босоножки из «Детского мира». Слишком маленький и жалкий, чтобы протестовать.

Чего ждешь? Де-е-енег? С деньгами любой дурак может. А ты без денег купи. Ревакорова.

Зачем он так делал? Воспитывал мне характер? Пожинал судьбу?

Страшно даже сказать, как я его ненавидел.

И ничего. Ничего не изменилось до сих пор.

* * *

Орехи смешиваем с перетертыми булками. Добавляем два стакана сахара и полстакана масла. Нужно оливковое, конечно, но кто тогда о нем слышал? Потому – подсолнечное. Продавалось в стеклянных бутылках. Стоило рубль пять. Нет, это у вас, может, девяносто девять копеек. У нас, на углу, в продмаге, – рубль пять. Прохладные гипсовые своды, монументальные мраморные бюсты продавщиц. Слишком величественные, чтобы скандалить. Матроны. Сначала к прилавку, потом в кассу, пробить, потом – снова к прилавку. Челночное снование. Половинку черного и белый. Масла крестьянского – двести грамм. Пересчитать сдачу дважды – не отходя от кассы. Денег, как только я пошел в школу, вдруг стало в обрез – родительские получки и авансы никак не сходились, словно в натальной карте начинающего астролога-шарлатана. Даже копеечные советские цены не спасали мать от унижительных бесконечных расчетов. Я тоже отлично управлялся с тяжеловооруженными карманами – десюнчики, двушки, редко-редко – увесистый полтинник. Блаженны не умеющие считать, ибо они живут в земном достатке и думать не думают про царствие небесное. Сами лезьте в свои игольные уши. А нас и тут неплохо кормят.

Мелочь сначала долго копилась в коричневой банке из-под индийского кофе с грудастой грустной гурией на жестяном боку. Дорого. Кто-то когда-то угостил. Пили по большим

праздникам, деликатно добавляя в чашку сгущенного молока. Потом праздники кончились, но банка осталась – как символ, как напоминание, стала временным пристанищем для мелких монет. Как можно было выкинуть такое сокровище? Мать даже целлофановые мешочки простирывала в мыльной воде и сушила, долго-долго, жирные, увешанные тяжелыми каплями. В приличных домах копили десятикопеечные монеты, звонко бросали в бутылку из-под советского шампанского, наблюдали сквозь толстую стеклянную зелень, как поднимается уровень достатка и самоуважения.

У самых терпеливых набиралось до горлышка – сто рублей.

Мы о таком и не мечтали.

Банка из-под кофе никогда не наполнялась даже наполовину. Мать то и дело ныряла туда, виновато качала головой. Ладно. Масло не бери, сынок. Обойдемся. Только кефир. Отец до хозяйства не снисходил никогда. Вообще не снисходил до их бедности, необъяснимой, странной, как проклятие. А ведь, кажется, был шишкой на своем заводе – инженер, потом (правда, недолго) даже главный инженер. Должен был прилично зарабатывать.

Так что, несмотря на всеобщее изобилие, мы жили бедно. Нет, неправильно – мы жили бедно и плохо. Мама молчала. Отец раздражался. Я рос. Пирогов в доме тоже не было – разве что столовские, из чана, пончики с повидлом. По четыре копейки. Резиновое тесто. Плевков буровой начинки. Промасленная бумажка, сквозь которую можно было читать – как сквозь невиданную невидимую слюду. Способ превратить даже самый пустяковый текст в истинную драгоценность.

Итак, орехи, два стакана сахара, перетертые булочки, полстакана растительного масла, одно яйцо. Тщательно смешиваем. Добавляем вишни и варенье из роз. Перемешиваем еще раз – сначала ложкой, потом не верящими своему счастью руками. Рыхлая сладкая россыпь. Чуть слипается под пальцами. Удержаться и не облизать практически невозможно. Когда-то, я уже, кажется, говорил, вместо вишен добавляли сухие апельсиновые корочки, вместо варенья из роз – анис и мускатный орех. Говорливая ясноглазая женщина смеялась, отламывала кусочек, украдкой совала в рот перепачканным, вечно голодным детям – вперемешку своим и чужим. И солнце, протиснувшись сквозь перепутанные тесные крыши, так же без разбору гладило всех по горячим макушкам.

Что там осталось? Тесто. Не стоит даже записывать. Самое простое. Яйцо, немного муки, гладкое зеленое масло в ладони, сложенной лодочкой. Белое вино из тяжелой бутылки, нагревшейся за весь день. Щепотка соды в еще сладких неловких пальцах. Раскатать тонким слоем, закрутить в рулет, поместить поближе к сердцу – туда, где самый ровный жар, самая сильная боль, самая темная спелость. Держать, пока не подрумянится.

Знать, что никогда не отпустит. Не пройдет. Никогда не зачерствеет, только и будет неделю за неделей, год за годом медленно высыхать, не теряя ни молекулы сладости, ни грана горя. А потом снова появятся ясноглазая женщина, смуглые дети, и солнце, которому нет больше равных нигде на земле, перепутает лапой твои волосы.

Это никогда не пройдет, Маля.

Ты же знаешь. Всегда знала. Это будет всегда.

Вы думаете, я умею готовить? Нет, не умею.

Ничего, кроме этой самой баклевы.

Глава 2

Даже маленького его называли – Иван. Никогда по-другому. Иван-болван, принеси стакан, подай лимон, пшел вон! Отвратительно. Воспитывали настоящего человека. Вернее, воспитывал отец, начинал его, как рождественского гуся, тем, что сам считал разумным и съедобным. Мать все больше молчала. Была никто – тонкая, белесая. И квартира вокруг нее тихо зарастала тонкой, белесой пылью. Мать проводила по ней пальцем – вела по полировке яркую полосу, коричневую, жидкую, как будто живую. Потом роняла руку, словно уставала, оставив на серванте не то недописанную букву, не то тайный неведомый знак.

Все напрасно.

Все и правда было напрасно – убираться, шевелиться, жить.

Квартира (трехкомнатная, крепкая, светлая, как сам отец) половиной окон тарасилась на железнодорожную ветку. И то ночью, то днем, но почему-то всегда неожиданно, вскрикивали, приближаясь, поезда – отчаянно, будто раненые. Мать вздрагивала, словно ненадолго просыпалась, и снова недоуменно смолкала – и снаружи и внутри. Одна из комнат, самая большая, была отцовская – целиком. Его кабинет. Смешно. Когда отец работал (над чем? зачем?), в квартире воцарялась осторожная тишина – хрупкая, ненадежная, как елочная игрушка. Мать ходила на цыпочках, чуточку приседая, шикала на сына, на поезда, даже на чайник, неосторожно вскипевший на плите. Чаю, Сереженька? Кабинетная дверь молчала. Мать со вздохом уносила поднос на кухню, ставила, стараясь не звякнуть, на стол. Чашка, блюдце, костяной, неизвестно как приبلудившийся к дому фарфор. Только для отца. Все остальные пили из фаянсовых. Сахарница. Розетка с тем самым вишневым вареньем, похожая на медленно запекающуюся рану. Веером, как карты, выложенное на блюдце «Юбилейное». Мать говорила – печеньеце. Хочешь печеньеце, сынок? Ловила Огарева, маленького, неловкого, за руку, прижимала к себе. Чш-ш! Не шуми, пожалуйста. Папа работает.

Черт знает, чем он там занимался. Обыкновенный заводской инженер.

Страдал? Мыслил? Изобретал?

Кроме отца в кабинете жили предметы столь же таинственные и неодушевленные. В одном углу – гири, в другом – письменный стол, совершенно пустой. Над столом висела фотография – черно-белая, волнистая, прикрепленная прямо к обоям обычными чертежными кнопками. Одна – с пятнышком ржавчины. На фотографии была степь. Просто степь – голая, унылая, прочерченная посередине такой же голой и унылой дорогой, уводящей взгляд за невидимый горизонт. Упражнение на перспективу. Смотрел, должно быть, часами. Думал. Вспоминал. Что это была за степь? Зачем он держал ее перед глазами? Пап, а что это? Отстранял на ходу, не замечая, как будто назойливую ветку. Шел дальше. Еще в кабинете ютилась кушетка, немолодая, некрасивая, стыдливо пытающаяся натянуть на себя плед в черно-белую пушистую клетку. Может, отец тут просто спал? Давил, как говорили в армии, на массу.

Никто не знал. Спрашивать было бесполезно.

Огареву в кабинет входить строго воспрещалось. Отцовские запреты пересекали мир под самыми разными, порой невысказанными углами – словно красные лазерные нити фантастической охранной системы. Шевельнешься, заденешь невидимый острый волосок, и сразу завоет со всех сторон, закричит, стеганет коротко и страшно – открытой ладонью. Детей было принято бить – все еще принято, в наказание, в угождение пращурам, в назидание потомкам. Девочкам полагалось определенное послабление – первая половая льгота, одна из многих. Их особо не лупили, то ли правда жалели, то ли оставляли это право будущему мужу – на сладкое, на потом. Огарев был мальчик. Всего несколько сотен лет назад отец вообще мог его убить. Имел полное право. Искореняя порок. Насаждая добродетель.

Кто не ужаснулся бы при мысли о необходимости повторить свое детство и не предпочел бы лучше умереть?

Блаженный Августин.

Так что Огареву, можно сказать, повезло.

Отпустив оплеуху, отец наклонился – крепкие скулы, заштрихованные темной щетиной, прямой нос, пушистые, словно у девчонки, брови. Соболиные. Красивый, как с плаката. Спрашивал – понял за что? Проще было кивнуть, согласиться, прыгнуть, зажмурившись, через очередной горящий обруч. Иначе вслед за пощечиной следовала мораль. Отец ставил его между коленок, не дернешься, не пикнешь – на меня смотри, я сказал! глаза не отводи! – и кратенько, минут на сорок, заводил про ответственность, долг, права и обязанности каждого члена, про подохнешь под забором и вот я в твои годы. Огарев молчал, насупясь, ждал, когда все закончится наконец. Терпел. Оба они, конечно, терпели. В положительное подкрепление отец не верил. Хвалить ребенка – только портить. Ты понял, что я сказал? Тогда иди. Вырастешь – спасибо мне скажешь. Огарев выворачивался из железного коленного плена, смирившийся, но не укрощенный. Вырасти! Да. Этого он точно хотел. Но только не для того, чтобы сказать спасибо.

Мать не наказывала его никогда, но никогда – как отец – и не хвалила. Была тихая, бесплотная, ласковая. Светила отцовским отраженным светом, как луна. Сереженька, ты не устал? Сереженька, ты сегодня снова допоздна? Сереженька, ужинать будешь? Огарев ревниво ввинчивался, бодал макушкой материнскую ладонь, как наголодавшийся кот, – а я, а мне! – она глядела бездумно, рассеянно, не замечая. Отстраняла растрепанного «Доктора Айболита», протянутые кубики.

Погоди, сынок. Давай не будем мешать папе.

Работала она на почте. Сидела там через день, словно прячась, за деревянной перегородкой – так что посетители, даже перегнувшись, видели только нитку пробора и светлые волосы, кудрявые, длинные, переливчатые. Молодые. Как у артистки театра и кино. Какой цвет удивительный! Сами краситесь, АннаВанна? Или в парикмахерской?

Мать поднимала длинное лицо, бледное, словно стеариновое. Бесцветные глаза, вялый рот, мягкие бульдожьи брыля – все неумолимо стремилось вниз, оплывало. Даже в том возрасте, когда все мамы – сказочные принцессы, Огарев знал, что его мама – некрасивая. Черствое слово. Очень черствое. Мать снова сутуло склонялась над квитанциями, неуместный вопрос про краску повисал в воздухе: она не делала ни малейшей попытки хоть как-то приукрасить себя, а ведь любая дурнушка знает, что даже самых жалких усилий порой бывает достаточно, чтобы умилостивить если не Бога, то хотя бы людей. Хотя бы людей.

Но – нет, ни помады, ни пудры, ни жалости к себе.

Ничего женского.

Тени для век Огарев впервые увидел вблизи, когда появилась Маля. Гладкая, словно эбонитовая, коробочка. Тихий щелчок. Зеркало. Нежные кисточки. Круглые разноцветные корытца. Как будто краски для рисования. «Нева» – помните «Неву»? Вожделенный «Ленинград». Только лучше. Если осторожно тронуть пальцем, на подушечке остается тонкая перламутровая пыльца. Как будто погладил живую бабочку. Траурница. Павлиний глаз. Капустница. Адмирал. Какой адмирал? А! Такой черно-коричневый, с рыжим? Не, мы не «адмирал» говорили – царек. Маля на секунду отрывалась от зеркала и радостно всплескивала руками. Ой, это же моя палетка! А я обыскалась. Где ты ее нашел? Он молча показывал на туалетный столик, больше похожий на перевернувшийся фургон шапито. Баночки, флакончики, тюбики, ленты. Оборванные кружева. Плюшевый рыжий кот, почти удушенный бесчисленными бусами. Царство уменьшительно-ласкательных суффиксов. Веселый бардак. Одна из шкатулок, если откинуть крышку, давясь от стыда, голосила ламбаду. Маля смеялась и, сунув руку в самую сердцевину пошлого мотивчика, нашаривала убежавшую сережку – а, вот ты где! Торопливо вдевала

в горячую мочку, встряхивала головой. Красивая, правда? Да нет, брось назад. Куда хочешь. Все равно я вторую куда-то задевала.

Значит, вот как это называется – палетка.

У матери ничего такого не было. Она не смеялась, не красилась, даже не пахла. Не носила ни колец, ни сережек, никаких украшений. Ничего. Впрочем, отец ничего ей и не дарил. А Маля ахала восторженно – бататушки! – и часами не отлипала от витрин. Грошковые пластмассовые клипсы. Черный жемчуг в белом золоте. Самопальные доморощенные деревяшки. Все, до чего она дотрагивалась, становилось красивым. Живым. А мать в тридцать лет взяла и обрезала волосы. Коротко, даже короче, чем под мальчишку. Лицо ее, и без того безжизненное, словно захлопнулось, как у безобразных придорожных святых, охранявших когда-то все перекрестки Европы. Отец заметил только через несколько дней. Присмотрелся, поморщился, пожал плечами. Ничего не сказал. Он-то как раз был красавец – широкоплечий, рослый, с полит-зачесом, который гнедым, как у Павки Корчагина, крылом падал на широкий светлый лоб. Вообще был похож на молодого Конкина – то же правильное честное лицо хорошего парня. Настоящего героя. И настоящего говнюка.

Утром, до завтрака, он, голый по пояс, кидал в кабинете круглые гири, играл мышцами, громко хекал.

Гладкий кабанчик.

Всякий раз, когда гиря хряпала об пол, мать вздрагивала, а Огарев мечтал, что пудовая металлическая капля проломит перекрытия и полетит вниз, к соседям, круша мебель, люстры, дефицитные хрустали, соседи вызовут милицию и отца посадят – ненадолго, лет на десять, этого вполне хватит, чтобы вырасти, чтобы просто перевести дух. Но соседей внизу не было, только шмыгали среди заросших пылью и паутиной лаг бесшумные крысы. Квартира была на первом этаже. Отца, коммуниста, парохода, передовика, никто никогда не посадит. Он будет всегда.

Полная безнадежность. Самое дно.

Отец входил на кухню – полотенце на шее, потные лохмы под мышками, обвисшие треники на мощной налитой жопе. Шерсть у него на груди лежала крепким войлочным орлом. Бросал на сына быстрый презрительный взгляд – никакого снисхождения, никакой жалости, соперничали они по-взрослому. Всегда. Ну, чего уставился, хиляк? Опять отлыниваешь от зарядки? Мать суетливо снимала с плиты яичницу, скребла вилкой по чугуну, раскладывала по тарелкам. Расшарканные тапки без задников, байковый халат с карманами, в которые она мимоходом, как в помойное ведро, совала все подряд – бумажки, подобранные с пола, яблочные огрызки, грустный коммунальный сор. Она была старше отца лет на пять, а казалось, что на двадцать.

Вообще непонятно, как они умудрились пожениться. Где, когда, зачем? Маля бы сразу узнала, конечно. А Огареву даже в голову не приходило спросить. Мам, расскажи, как вы с папой познакомились? Обычный детский вопрос, уютный, вечерний, одеяло подоткнуто со всех сторон – чур, я в домике! Но мать вечером приходила всего на секунду, наклонялась не присаживаясь, торопливо клевала в лоб. Спешила в соседнюю комнату, к отцу.

Шаги, щелчок выключателя – и живая желтая полоса под закрытой дверью исчезала.

По утрам за окнами орали воробьи.

Еще в пятидесятые тут была даже не окраина – так, пара никчемных деревень, обвитых, как пуповиной, заглохшим трактором, лесок, излучина Москва-реки, заливные луга, тихие дачки. Но Москва вдруг появилась, навалилась со всех сторон, будто выпершее из кастрюли крепкое тесто, деревеньки не расселили даже, а распылили, точно сдунули с карты, и на их месте встал сперва завод, основательный, в четыре корпуса, а потом вокруг него, словно вокруг средневековой цитадели, повинувшись, кстати, тем же мерным всечеловеческим зако-

нам, поползли, расширяя концентрические круги, сперва голосистые бараки, потом хрущевки, крепкие, кирпичные. Следом, словно привлеченная живыми людьми, как бы сама собой возникла инфраструктура, и за хрустящим этим, иностранным словом прятался все тот же древний человеческий уклад. Только вместо лавок, обжорок и торговцев снадобьями встали магазины, детсады, поликлиники – все новенькие, сахарной белизны, вкусно пахнущие снаружи и внутри прохладной сырой штукатуркой.

Ремесленный люд, сам себя уважающий, важный, зашагал вразвалку по свежим тротуарам, то и дело, впрочем, сворачивая, чтобы стоптать поперек молодого газона удобную тропинку, ведущую напрямки к автобусной остановке или монополюшке. Примат разума над эстетикой. Клавк! Ты вечером в Дом культуры пойдешь? А то!

Район, выстроенный разом, разом и заселился – в основном лимитой, которая, повинувшись партии и плоти, вскоре разбилась на пары, обзавелась сперва положенным потомством, потом выстрадавшими, заработанными в прямом смысле квадратными метрами, в цехах бок о бок стояли ровесники, ровесницы толкались в очередях, играли свадьбы, со скандалами разводились, с каждым часом, с каждым шагом обтираясь, отесываясь, осваиваясь в столице. Нарожали они уже коренных москвичей. Да. Дождались.

К 1969 году, когда пришел черед появиться на свет Огареву, район уже вполне остепенился, повзрослел и обзавелся даже тоненькой жировой прослойкой собственной интеллигенции. Москва, сожрав и переварив этот ломоть земли, уползла, глухо ворча, дальше, в сторону Ленинграда. И оказалось, что до центра всего пять остановок на метро. Удобно. Близко. Хошь тебе ГУМ, хошь Кремль. И при этом до ближайшего детского садика пешком – пять минут, а школа – вот она, за углом.

Огарева даже не провожали ни в школу, ни в садик, да и никто никого не провожал – и это было лучшее время дня, совершенно свободное, особенно весной. Первый раз в этом году надетые шорты, холодок, кусающий бледные еще, зимние колени, гольфы, портфель, липкие кожанки тополиных почек. Подошвы щелкали по тротуару – свежий, радостный, тоже очень весенний звук. Лучшие воспоминания детства. Полное одиночество.

Огарев не сразу заметил, как все начало ветшать, покрываться невидимой сперва сеткой трещин, а потом вдруг стали обваливаться целые пласты. Огромные, яркие. Первыми исчезли мамыны подружки, веселые, молодые, собиравшиеся на чаек. На самом деле тишком угощались на кухне водочкой, лакомились понемногу, до красных щек, а потом пели печальными прекрасными голосами про по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. Огареву чудилась вместо казака – коза, коза молодой, с грузинским удивленным акцентом – вах! Грузины торговали на хитрушке черешней, немыслимой совершенно, красно– и черно-лаковой, по восемь рублей килограмм. Огарев стоял у прилавка подолгу, маленький, замороженный – как такую красоту можно было есть? Зимой грузины зябли, хохлились над стеклянными коробами, похожими на аквариумы. В аквариумы переселяли сменившие черешню мандарины, и они смутно и мягко светили сквозь запотевшее стекло рыжими теплыми боками. И так же тепло сияла в каждом коробе свечка, выдыхая маленькое, праздничное, совсем человеческое тепло. Грузины грустно прятали носы в поднятые по-шпионски воротники дубленок, одними глазами, огромными, слезящимися, жаловались на чужой, невозможный мороз, но при виде каждой девушки вскидывались разом, рассыпались щедрой гортанной скороговоркой, цокали восхищенно. Коза молодой!

Подружки просто перестали приходить, и все. Дома теперь иногда пела только радиоточка, трезвая, скучная, обитающая, словно в насмешку, тоже на кухне. Потом отец встал на табуретку – потолки были высоченные даже для него – и выключил навеки. И сразу стало тихо. Очень, очень надолго.

Потом прекратились поездки летом на дачу. Прежде снимали полдома в деревне, уезжали с матерью на нанятой полуторке, с вещами, счастливые, свободные, бездельные. Или это

только так казалось? Огарев сидел в огромной кабине, следил разинув рот за каждым поворотом оплетенного изолентой руля. Вот руль застрял в памяти навсегда. А все остальное – упругую струю воды из колонки, деревянный щелястый коробок сортира, сочные лопухи, в одну ночь, словно по волшебству, поспевающие вишни – вспоминал все реже и с трудом, словно совсем уже сказочные детские небылицы. Отец приезжал на дачу раз в месяц. На выходные. Копался, раздевшись по пояс, в чужом огороде, без малейших усилий втыкая в небогатую подмосковную землю лезвие штыковой лопаты. Вывернутый сырой пласт был поровну пронизан червями и корнями, одинаково бледными, слабыми, неживыми. Помнил о смерти. Огарев подсматривал из малинника, тоже бледного, подмосковного, негустого, – ягоды висели над его головой, каждая кропотливо собрана из кисловатых полупрозрачных бусин. Поймать губами, сжать, проглотить. Сделать своим.

Отец все копал и копал, неутомимый, несгибаемый, и только спина его, широкая, молодая, сияла от блестящего пота, словно лошадиная. Мать выходила на крыльцо – и смотрела тоже, долго-долго, так что Огарев физически чувствовал, как его и материнский взгляд фокусируются между отцовских лопаток, грозя прожечь крошечную нестерпимую дырку, но ничего не случилось, отец даже не оборачивался, пока мать наконец не звала тихо – Сереженька, я поесть собрала. И тогда отец втыкал лопату в никому не нужную грядку, и на рукоять ее, полированную, словно янтарную, немедленно садилась стрекоза – многогранная, драгоценная, дрожащая, – будто ставила точку в конце трудового дня.

В доме на столе уже стояла тарелка с дымящейся темно-желтой, как будто из масла вылепленной картошкой, и отец, понюхав горбушку, тянулся пучком зеленого лука к солонке, тяжелой, хрустальной, похожей на водочную стопку, неизвестно зачем оправленную в серебро. Солонку тоже привозили с собой. Потом перестали.

Ездить на дачу.

Принимать гостей.

Праздновать Новый год.

Прежняя жизнь тихо, медленно, как загар, бледнела, сходила на нет и окончательно исчезла, когда Огарева приняли в октябрюта. Торжественная линейка, нестройное белорубашечное каре, целая пригоршня колючих звездочек, в центре каждой – Ленин. Маленький. С кудрявой головой. Огарев, пылая ушами, стоял в общем ряду и – в первый и в последний раз в своей жизни – испытывал чувство сопричастности со своим государством, очень теплое, простое и грубое, как куча-мала. Больше ему с родиной побыть единым целым так и не удалось. Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь. Уважение может быть только взаимным.

Отец вдруг оставил его в покое и перестал дрессировать, с каким-то даже облегчением, – словно переложил всю ответственность на школу. Я сделал все что мог, пусть теперь сами разбираются. Какое-то время еще, словно по привычке, он изводил сына придирами – взрослыми, издевательскими, прицельными. Сводил какие-то тайные, страшные счета. Лучше бы, как раньше, лупил.

А потом и вовсе перестал замечать. Вообще. И его, и мать.

Мать потускнела еще больше, затихла, затаилась, будто опрокинувшийся на ладони жук. И вместе с ней потускнела квартира, прежде светлая, большая. Мать, придя с работы, опускалась бессильно перед телевизором, черно-белым, мутным, смотрела, ничего не видя, словно пыталась наполнить голову чужим, невнятным бубнежом. Огарев телевизор не любил. Скучно.

Он слонялся из комнаты в комнату, маленький, тощий, угрюмый. Можно, конечно, было выйти во двор, погонять с ребятами, но что-то разладилось и там, будто отец и правда сглазил их с матерью. Это было странное и страшное слово – сглазил. Подслушанное. Мать тихо жаловалась соседке – Огарев, ковыряя дверной косяк, слышал, как она глотает слезы, громко, неловко, будто остывший чай. Она бормотала что-то неразборчивое, жалобное, как будто даже

скулила, и соседка вдруг громко присудила – толстым, сдобным голосом – да сглазили вас, это ясно. В церкву сходить надо, помолиться.

Что такое «сглазить», Огарев так и не узнал. Мать, услышав вопрос, только сморщилась, махнула рукой и пошла, пошла на кухню, машинально, словно слепая, хватаясь за стену. Детская жалость – очень короткое чувство. Почти мгновенное. Слишком много сил нужно, чтобы вырасти самому. Если бы мать ушиблась, Огарев бы заплакал вместе с ней, вместо нее, отшлепал бы неуклюжий стул или угол – у акулы боли, у волка боли, у мамочки не боли, тихий, верный заговор, подорожник, наклепанный на ссадину, поцелуй, чудом останавливающий несмертельную, венозную кровь. Но что он мог в свои восемь лет сделать с настоящим взрослым отчаянием? Только забыть его мгновенно, только вытеснить, ничего не поняв. Мать еще не дошла до кухни, а Огарев уже был в любимом своем углу – между стеной и диваном, снизу – пол, сверху – спасительная тень подоконника. Он пошарил за диванной спинкой – в узкой опасной щели, почти в прорези – и вытащил книжку.

Как всегда, погладил ладонью. Зажмурился на мгновение, прежде чем открыть.

Черные большие буквы на мелованной белой обложке.

Тициан.

Бог ведь как прибилудился к дому этот толстый альбом в скользкой суперобложке. Наверно, отца наградили на заводе за какой-нибудь усовершенствованный карданный вал. Лучше бы выдали живой двадцатипятирублевик с ленинской башкой в лепных лиловых тенях. Огарев так не считал. Тициан ему нравился. Тициан был праздник – ворованный, тайный. Даная, цыганская мадонна, портрет молодой женщины. Прелестная Саломея, вскинувшая блюдо с мертвой чудовищной головой. Мягкая, лакомая нагота. Темные грустные глаза, крошечные рты, нежные шеи, складки, тающие в темноте, сулившей непонятную, но отчетливую сладость. Ямочки на щеках и локтях. Пересохшее горло. Италия, Флоренция, Возрождение, Санта-Мария-дель-Фьоре, Санта-Кроче, Сантиссима-Аннунциата – прекрасные, ничего не значащие слова. Никакого смысла в них не было – вообще ничего, кроме света.

Отец, не вовремя вернувшийся, просто взял и затмил этот свет – в прямом и переносном смысле. Наклонился, вырвал из рук, пролистнул с хрустом. Посмотрел на Огарева так, будто оступился и вляпался рукой в чью-то теплую еще блевотину.

А не рано тебе голых баб?

И все. Никакого Тициана не стало.

Просто выкинул, должно быть. Подарить кому-нибудь вряд ли бы догадался. Это вообще было не про отца – дарить. Да и кому? Кому мог пригодиться Тициан, кто вообще мог его увидеть? Оценить?

Огарев лежал в ванне, глотая слезы – жалел себя. Это было так приятно. Быть слабым. Жалким. Бледные, сморщенные подушечки пальцев, торчащие из воды угловатые коленки. Теплая вода, теплая соль на губах, путанные, мягкие мысли. Но вода остывала – рано или поздно. Рано или поздно в дверь кто-нибудь стучал. Мать, потому что хотела замочить белье. Отец, потому что имел право. Надо было вылезать, растираться полотенцем, накрепко, докрасна – и Огарев растирался, лихорадочно соображая, что же делать. Отец словно загородил собой весь мир. Ему невозможно было понравиться, угодить – в принципе, как ни старайся. Маленьким Огарев пробовал. И не раз. Очень долго Огарев был уверен, что дело в нем самом, просто это он был такой никчемный, неловкий, плохо рисовал, падал с велосипеда, не так держал ложку – отец одним взглядом умел показать: нет, неправильно, бестолочь. Огарев торопливо перехватывал черенок – нет, снова не так. Опять. Бестолочь и есть.

Как именно правильно – отец не говорил никогда. Сам не знал, наверно. Вставал, отодвигал тарелку, уходил. Ни спасибо. Ни до свидания. Огарев едва мог припомнить, чтобы отец приласкал его, поцеловал, просто погладил по голове. Кошек же во дворе чесал – серых, вечно недовольных, ничейных. Хотя бы как кошку. Нет. Опять не дотронулся. Огарев физически

ощущал, какой он свалывшийся, липкий, нескладный. Не прикоснуться. Слишком противно. Паршивый. Сам во всем виноват. Отец так и говорил. Ты сам во всем виноват. Всегда.

Страшно подумать, какую вину волокут на себе дети, добровольно, молча, ни слова никому не говоря. Мама умерла, потому что я баловался со спичками. Папа ушел, потому что я некрасивая и плохо учусь. Ссоры родителей, иссякшая нефть, солнце, вставшее не с той стороны, хомячок, ледяным взъерошенным комком свернувшийся на дне трехлитровой банки, – нет горя, которое не взял бы на себя ребенок. Просто потому что он – ребенок. Огарев не знал, что это нужно всего-навсего перерасти. Перетерпеть – и все пройдет, забудется, как рахит, ветрянка, молочные зубы, наливные, обсыпавшие даже спину прыщи. Мир станет ясным и взрослым. Родители уменьшатся, сползут с постамента – даже самые лучшие займут сперва двадцать пятое место, потом – сто двадцать седьмое, окажутся слабыми, надоедливymi, ничемными, мелкими.

Такими, какие есть.

Просто людьми.

Если бы хоть кто-нибудь сказал Огареву об этом – стало бы легче. Но никто не сказал. Ему понадобились годы, чтобы понять простую и очевидную с самого начала вещь. Отец его не любил. Просто не любил, и все. Слава богу, к этому моменту Огарев уже научился отца ненавидеть.

Это было тяжелое чувство. Взрослое. Почти непосильное для ребенка.

К вечеру Огарев уставал от ненависти так, что долго не мог заснуть. Все лежал, прислушивался изо всех сил, ожидая скрипа пружин, хоть какого-то звука, свидетельства ночной родительской жизни, сначала сам не зная зачем, маленький, мягкий, потом – взрослея – с ужасом, еще позже – с надеждой. Ему казалось, что отец, там, за дверью, обижает мать, ну или хотя бы когда-нибудь обидит. Обидит видимо, несомненно. Так, чтобы можно было отомстить. Кулаки, сперва детские, жалкие, каменели, наливались ненавистью и силой, ползли по рукам, проступая, тяжелые, взрослые жилы, звенело в ушах. Пусть они там, за дверью, издадут хоть какой-то звук. Но звука не было.

Огарев вырос под этим одеялом, прислушиваясь к тишине. Стал мужчиной. Тщетно – отец так ничего и не заметил. Так и не признал в нем равного. Своего.

Даже после армии, когда Огарев мог отца просто убить. А что? Легко. Его отлично научили.

Даже после того, как мама умерла.

Так ничего и не случилось.

Родись Огарев в девяностые, он бы, несомненно, стал преступником – не мелким гопником, не шпаной, а именно преступником. Он быстро думал, ненавидел власть в любом ее проявлении и был зол на весь свет, включая самого себя. Идеальный питательный бульон для бессмысленного бунтовщика. Но советская школа, серенькая, районная, в три невысоких этажа, мигом управлялась с угрюмым подростком при помощи самого нехитрого эликсира – высокие моральные принципы плюс унылая рутина. Ученикам вбивали в головы столько правильных и хороших вещей, что даже самый тупой индивид рано или поздно усваивал, что главное, ребята, сердцем не стареть, сам погибай, а товарища выручай, коллектив – всему голова, а родина-мать – зовет. В школе из молодого человеческого вторсырья сноровисто собирали порядочных людей, действительно порядочных, просто делали это по большей части спустя рукава и конвейерным способом.

Кому-то везло, и он попадал в руки настоящего мастера – и тогда вместо условно, по трафарету обработанной болванки на свет появлялась индивидуально ограненная личность, притягательная, сложная, сделанная с любовью, а не на заказ. К сожалению, мастером мог оказаться не только какой-нибудь заслуженный учитель Советского Союза, тихо помешанный на физике и детишках, но и банальный дворовой пахан, несостоявшийся Песталоцци, зато

вполне успешный и действующий мерзавец и вор, или просто Гепард, такой же точно, как в «Парне из преисподней». Огарев своего учителя нашел не скоро и не в школе, потому просто захлебнулся в ежедневной школьной скуке. Быть хорошим его научили быстро, но вот что с этим делать – никто не знал.

Учился Огарев неплохо, но это не помогало. Он не был ни отличником, ни отъявленным хулиганом, ни шутком – и потому вообще не появлялся в свете ежедневных школьных софитов. Как будто отказывался признавать, что популярность – это работа. Может, и правда не понимал. Но дело было не в привычке держаться в тени – в конце концов, середняков на земле вообще большинство, немых, безликих, идущих вечным алфавитным списком, что в классном журнале, что на братской могиле, что на переключке в армии или концлагере.

Огарева почему-то сторонились.

Нет, не брезговали – именно сторонились. Как будто понимали, не понимали даже – просто чувствовали, что с ним что-то не так. Каждый третий в школе был безотцовщина, каждого второго колотили, иных – смертным боем, до синяков. Конечно, Огаревы здорово обнищали – неизвестно почему, но многие одевались куда хуже, он был хотя бы всегда чистый, всегда стриженный, всегда в свежей рубашке, мать следила за этим – из последних сил – и его самого приучила.

Ничего не помогало. Он был нелюбимый. Просто нелюбимый – и все.

Сопротивляться, спорить – бесполезно.

Огарев так и провел бы всю школьную, а может, и не только школьную жизнь в сонном оцепенении, если бы не Неточка. Она появилась 1 сентября 1984 года, надменная, долговязая, великолепная. И за несколько месяцев превратила Огарева из неудачника в эмбрион человека. Дочка какого-то мелкопоместного железнодорожного начальства, она была не такая, как все, совершенно, даже в мелочах. Фартук – кружевной, а не из скучной монашеской шерсти. Пенал – импортный, с немислимой переливашкой, из которой подмигивал то Микки-Маус, то еще какая-то неопознанная лукавая мультяшка. Прическа – черт, у Неточки была не коса, как у большинства девчонок, и даже не парикмахерская дурацкая стрижка горшком, а самая настоящая взрослая прическа. Высоко собранный на затылке медно-рыжий, почти красный узел, к которому сбегались от висков две пряди, переплетенные так хитро, что ясно было – Неточка, собираясь в школу, не рыскает, как все, по углам в поисках сменки или дневника, а проводит перед зеркалом неторопливые, полные таинственного женского достоинства минуты. Даже комсомольский значок у нее был не такой, как у всех, – крошечный, как темная, подпекшаяся кровяная капля. Да что там – кроме нее, и комсомольцев в классе пока не было.

Все это – включая рыжину, дерзкую белокожесть и крупные веснушки на вздернутом носу – обеспечивало Неточке статус профессионального изгоя. Выделяться было не принято. Ни в те времена, ни в том возрасте, ни в том районе. Не таких, как все, били – простодушно, сильно, даже не зло. Просто чтоб поучить, пригнуть под общую гребенку. Относительное спокойствие гарантировала только серость. Огарев это понимал. Даже Огарев, одинокий, тощий, нескладный. В свои четырнадцать лет. Но Неточка – и это было поразительно, конечно, – Неточка носила свою непохожесть с царственной беспечностью. Точно мантию горностаевую, честное слово. И не просто мантию, а мантию, привычную с детства. Ну, вот так я одеваюсь, что ж теперь? Немного неудобно, часто тяжело и в троллейбус не сразу втиснешься, но зато все провожают глазами. Все.

Даже имя у нее было необыкновенное. Бесхитростная Наташа Столяр по классному журналу, она представилась любопытствующим одноклассникам, точно в глаза плюнула. Неточка! И когда Огарев, жалко желая выслужиться перед классными силачами, процедил насмешливо, что таких имен не бывает, брезгливо удивилась – ты что, Достоевского не читал? Огарев, не ожидавший от новенькой никакого отпора, только и смог выдать – дура, и отполз в сторону, посрамленный. Неточка забыла о нем в ту же секунду – это было ясно. И справедливо. Конечно,

может, она и была дура. Вот только Достоевского Огарев и правда не читал. Ну то есть терзался над школьной программой, как все, пытаясь выудить из тоскливых параграфов хоть каплю здравого смысла. Но по-настоящему не читал. Нет. И не только Достоевского.

Что бы несчастное человечество делало без половых гормонов? Уязвленное самолюбие ныло и через день, и еще через один, так что Огарев, устав таращиться на рыжий Неточкин затылок (Тициан все еще болел, все еще никак не хотел отпускать) поплелся в библиотеку. Дома книг не было. Вообще. Даже места для них не предполагалось. Выданная по формуляру «Неточка Незванова» оказалась ожидаемой скучищей (Достоевского, кстати, Огарев так и не полюбил никогда и особенно раздражался, что все у этого нервного автора беспрестанно рыдали и становились на колени). «Братьев Карамазовых» он преодолевал на чистом мужестве, как суворовский солдат – заснеженный перевал, но, к счастью, умиленная огаревским рвением библиотекаря (тряпичные фиалки на лацкане, очки, так и не приплывшие никогда алые паруса) сжалась и подложила ему сперва Толстого (разумеется, того самого, единственного, Льва), потом Бунина, а дальше уже Огарев покатыл сам, все ускоряясь, словно в счастливом сне, все дальше оставляя позади Москву, захудалый свой рабочий район, отца, самого себя прежнего, дебиловатого недоумка.

«Мартин Иден», взятый с полки уже самостоятельно, без библиотекаря подсаживающего шепотка, укрепил его в том, что в жизни возможно все. То есть вообще все. Если очень постараться. Так что Огарев, аккуратно, как с двухверсткой, сверяясь с Джеком Лондоном, устроил интеллектуальные усилия и к новому году был вполне готов к литературной дискуссии. Но – поздно. К тому времени в Неточку были влюблены все мальчишки класса, и пробиться через этот коленопреклоненный (совсем как у Достоевского) пажеский корпус уже не представлялось возможным.

«Дура» так и осталась единственным словом, которым Огарев обменялся с Неточкой. Увы. Она его не замечала. И это даже звучало как начало городского романа, пошлого, невозможного – и от того так сильно и просто трогающего сердце. К счастью, тихий, неотразимый яд, которым напитана русская классика, оказался в случае с Огаревым животворным, будто прививка. «Крейцера соната», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание»... Огарев перечел их залпом, но вместо того, чтобы умереть, просто разлюбил Неточку за одну ночь – невозможным волевым усилием, о котором старался не вспоминать и взрослым.

Наутро в класс вошла самая обычная рыжая девчонка. Курносая, нескладная, в грубоватых колготках. Вулканический прыщ сиял на ее лбу сквозь нашлепку тонального крема, розоватого, жирного, неприятного. Она грохнула на парту спортивную сумку (одним только учебником литературы можно было если не прибить, то уж точно всерьез покалечить), усеялась, рьяно поскребла шариковой ручкой затылок. Огарев с угрюмой безжалостной грустью наблюдал превращение королевской медной короны в обычный узел на затылке – кривоватый, небрежный. Подростковая сальность, перхоть, хлопьями присыпавшая помрачневший к пятнице кружевной воротничок. Голову следовало бы вымыть еще пару дней назад. Только рыжий цвет что-то еще значил. Только он еще и волновал.

И Огарев привычно уже отправился в библиотеку.

Тициан – не ворованный, впервые просмотренный честно, при всех – чуть поблек, словно и сам смутился. Библиотекаря принесла еще стопку альбомов, тяжелых, в суперобложках, кое-где нервно надорванных по краям. Леонардо, Рубенс, Джотто, ненормально прекрасный Врубель, передвижники, такие немудреные на первый взгляд. Растущая, внезапно опустевшая без Неточки душа Огарева настоятельно требовала прекрасного – это было все равно что потерять зуб. Язык, привыкший к гладкому частоколу, поминутно нашаривал дыру, безболезненную и от того особенно неприятную. Засыпающая пустота. Заплывающая рана.

Огарев сидел, ссутулившись, в читальном зале. Выбирал себе мечту. Тихий библиотечный свет ложился на гладкие страницы, собирался лужицами, бликовал. Все было красивое, но

чужое, все туманилось чуть-чуть, словно силясь сбыться. Устав от репродукций, Огарев продирался сквозь микроскопическим кеглем набранные статьи маститых искусствоведов, которые невнятно, словно полный рот бороды набрав, разъясняли истинную сущность шедевров, рекомендовали обратить внимание на перспективу, лакомились особенностями техники.

Вот это оказалось интересно.

Огарев, сам не способный нарисовать ни солнышка, ни хрестоматийного барашка, с неожиданным удовольствием вбирал в себя вкусные слова – темпера, масло, энкаустик, акварель. Литография отличалась от гравюры, свет Мане – от теней Рембрандта. Читать о картине и смотреть на нее. Сразу два канала информации. Нет, даже три. Тихий бубнеж читального зала – скрип паркета и старых стульев, грохоток фольги, это уже шоколадка – принесенная и съеденная кем-то втихомолку, украдкой. Шепот, легкое дыхание, аппетитный хруст раскрываемых корешков. Библиотекарша вынесла последнюю стопку альбомов, развела виновато руками – больше нету. Может, тебе просто в Третьяковку сходить?

Огарев подумал, прислушался к себе – нет, пожалуй, что хватит.

Не пригодится.

Но – надо же, пригодилось.

Много-много лет спустя, бродя по европейским пинакотекам, он словно заново перелистывал оставленные в отрочестве альбомы – нет, нет, Маля, это фра Филиппо Липпи, учитель Боттичелли. Забавно, видишь? Везде писал одно и то же лицо. Даже ракурс везде одинаковый. Как будто не умел ничего другого. Может, и правда не умел. А? Нет, это уже после XVI века. Или самый его конец. Можешь не проверять даже. Ну что значит – откуда знаю? Знаю, и все. Видишь, как собачья шерсть прописана? Это лессировка. Она появилась как раз в XVI веке.

Маля наклонялась к темному, маслянистому холсту, изумленно рассматривала вислого игривого кобелька, лежащего в ногах очередной томной данай. Глубокие шелковые складки, нега, ошейник, холка, коготки. Все истлело, умерло, истаяло много веков назад. Все никуда не делось.

Вот эти мазки, видишь? Длинные, прозрачные? Это и есть лессировка.

Ты точно врач? Маля недоверчиво качала головой.

Врач, конечно.

По-моему, ты не тем деньги зарабатываешь.

Огарев смеялся невесело – это была чистая правда, конечно. Не тем. Совершенно не тем. Зачем я лечу? Разве это настоящее? Галерея Уффици, венский Музей истории искусств, дрезденская галерея, безымянная деревенская церквушка, приютившая на стене фреску Джотто. Должно быть, провалял здесь дурака целую неделю, пил вино, щипал за бока круглых здешних красавиц, целовал хлеб в горячий живот, прежде чем надломить. Макал в уксус и масло. Оцет и олей.

Расплатился вот этой фреской.

Умер. Тоже умер.

Вся мировая живопись не смогла принести Огареву утешения, зато зачем-то осталась в памяти, легла грузом – слава богу, хоть не мертвым, тихо осела на тихое дно. Вечерами он рассказывал Мале сказки про Рафаэля и Дюрера, про Боттичелли и Миро. Но тогда, в четырнадцать лет, так и не нашел кого полюбить. Оставалась только мать – тихая, уродливая, никому не нужная. Огарев, переполненный своей новой свежечитанной жалостью к миру (оказывается, это было совершенно необходимо – жалеть!), вдруг увидел ее – ненадолго, всего на несколько месяцев, которых ей потом хватило до конца жизни и даже потом, даже потом, еще долго потом.

Мать тащила сумки. Две авоськи, оттянувшие руки, и без того длинные, нелепые, вылезшие из коротковатых обтрепанных рукавов. Все носили болоньевые плащи, модные, шуршащие. У нее такого не было. Семисезонное пальтецо. Суровое сукно. Серое. Почти шинельное.

Платок, сбившийся до затылка. Душа, сбившаяся до красноты, до мягкости, почти до кости. Волоклась как кляча. Семь кило картошки. Две бутылки кефира. Сутулость. Батон за двадцать две. Пачка сахара. Каменная соль. Тяжело.

Огарев догнал, молча выхватил сумку. Одну, потом вторую. Ахнул. Действительно тяжело. Мать сопротивлялась испуганно, тянула авоськи к себе, будто не сразу узнала сына. Мам, дай. Ну дай же! Не надо, Иван, не надо, я сама. Огарев отпихнул ее – почти грубо. Надорвешься ведь, сынок! Не надорвусь. Мать покорно засеменила рядом, приноравливаясь к его уже почти взрослому шагу. Осень. Окраина. Мга. Фонари, выбитые через один, как зубы.

На углу, почти возле дома, она сделала еще одну жалкую попытку отвоевать свои авоськи. Нет, мам. Я же сказал. Отстань! Нежность, притворившаяся грубостью. Ощетиненный, обиженный, жалкий. Злой. Поняла, не обиделась. Конечно же, поняла. Почему отец не помогал ей? Никогда. Заправить пододеяльник. Подать руку. Поднести. Придержать дверь. Такая простая, человеческая забота. Огарев, не позволив себе даже раза передохнуть, дотащился до их квартиры. Зассанные углы, замалеванные суриком стены.

Сгрузил все на кухне. Потер вздувшиеся на ладонях красно-белые рубцы. Больше ты сумки носить не будешь. Мать вдруг встала на цыпочки, прижалась на мгновение мокрым бледным лицом. Большой стал совсем. Вырос. Сказала растерянно, точно взросление Огарева не было предусмотрено никакой программой. Точно удивилась.

Ночью Огарев плакал – сперва как ребенок, горько, отчаянно, жалко. В последний раз. Под утро – уже совсем как взрослый, молча. Как взрослый, давал себе клятвы, неисполнимые, тяжелые. Страшные. Все, все будет теперь не так. Но все, конечно, осталось по-прежнему. Правда, он несколько раз действительно сходил с матерью по магазинам – по большому кругу. Два продовольственных, хозяйственный, булочная, гастроном. Даже хитрушка, на которой торговали картошкой, зеленью и в сезон – ягодой, яблоками, тут же, неподалеку, в предместьях, выращенным луком. Очереди, отчаянная скука, такой же отчаянный стыд.

Оказывается, кормить семью – это было долго, муторно, сложно. Его подзабытые уже детские пробежки за хлебом и молоком казались теперь раем. Мать шарила по полкам тревожными глазами. Не выкинули ли чего нужного? Не забыла ли? Порошок стиральный еще надо бы... Мать брала его за руку (при всех! при пацанах!). Донесем, сынок? Как думаешь? Справимся? Огарев дергался от жалости, как от ожога. Тянул руку назад, к себе, прятал для верности в карман. Мать не замечала. Она радовалась их неожиданному заодно, и радость эта, тихая, прибитая, уродовала ее еще больше обычного, привычного уже оцепенения.

Они перли домой неподъемные сумки, мать робко мечтала, что вот, раз уж такое дело, может, ремонт к лету сделаем. Одна-то я не управлюсь. А с тобой мы и обои зараз донесем. И поклеим все. Отец из отпуска вернется – а у нас вон оно что! Всегда ездил один. В санаторий – на двадцать восемь дней. По путевке от завода. Всегда. А они с матерью оставались в городе. Спрашивать почему было бесполезно. Мать просто не знала. Разводила неуклюже вязаными рукавичками. То же пальто, жиденькое, продрогшее. Только вместо платка зимой извлекалась с антресолей пуховая серая шаль. И вот – рукавички.

Я не знаю, сынок.

Ремонт они так и не сделали.

Не успели.

К новому году у Огарева появилась новая жизнь, новая мечта. Интересная. Настоящая. Живая. Мать какое-то время еще семенила рядом, придерживаясь за Огарева рукой, – будто спешила за трамваем, а потом отстала, хотя перешла на бег, и только отстала еще больше, маленькая, жалкая, виновато улыбающаяся.

Одна. Снова одна.

Теперь уже насовсем.

Мужик возился в сугробе, неловко, как тюлень, – подгребал снег тяжелыми лапами, силится приподнять громоздкую тушу. Плюх, шлеп. Безвременно угасший фонарь, глухой переулочек, вечер. Напрасно. Здоровенный. Сам не подымет. Огарев подошел, наклонился и подобрал сначала свалившуюся с мужика шапку – хорошую, дорогую, пушистую. Пыжик. Если бы шпана подрезала, шапку бы точно забрали. Значит, просто пьяный. Повозится еще немного, устанет, заснет и через пару часов замерзнет заживо. Нет, неправильно – не заживо, а насмерть. Огарев протянул руку – молча. Мужик так же молча покачал головой – и Огарев, сразу поняв, подставил плечо. Крякнул. Еще крякнул. Поднатужился.

Присядь, коленки согни. Так легче будет, посоветовал мужик, обдав Огарева не ожидаемым перегаром, а вкусной одеколонной волной, сладковатой, ванильной, почти съедобной. Как будто не человек ворочался в снегу, а громадный горячий батон. Отец одеколонился только в парикмахерской. Освежить не желаете? Зеленый флакон с пульверизатором. Зеленый запах «Шипра». Пшик-пшик. Коленки согни, говорю, спину сорвешь. Огарев послушался наконец и – р-раз! – гладко, как пробку из бутылки, вынул мужика из сугроба. Обстучал об коленку шапку, протянул.

Спасибо!

Мужик попробовал шагнуть, сморщился от боли, засучил штанину и ловко, будто не свою, а чужую, ощупал бледную безволосую икру. Вишь ты. Подвернул все-таки. Он был ни грамма не пьяный. Просто оступился и упал. Тротуары в их районе сроду никто не чистил, а если еще пацаны раскатают – чистый лед. Огарев, как замороженный, смотрел на вздувшиеся на ноге чудовищные мышцы. Как будто кто-то скрутил в жгут тяжелые древесные корни и приладил к живому человеку. Мужик одернул штанину, распрямился. У него было обманчиво мягкое, круглое лицо и маленький курносый нос. Куковкой. Совсем детский.

А ты молодец, сказал он с уважением. Крепкий. Во мне сто кило без малого. Лет тебе сколько? Четырнадцать, буркнул Огарев. Годится, одобрил мужик весело. И это была еще одна награда. Непривычная. Еще одна похвала. Отец за всю жизнь не похвалил его столько раз, сколько этот мужик – за пару минут. Огарев уже обожал его, конечно. Эту шапку. Этот запах. Это пальто, сероватое, в полоску, натянутое на таких же чудовищных, как икры, мускулистых плечах. Мужик положил ему на шею горячую руку, потрепал ласково, как щенка. Тощий какой. Но все равно – крепкий. Одни жилы. Приходи в Дом культуры. Спросишь Валерия Викторовича Матюкина. Мужик еще раз наступил на пострадавшую ногу, словно приноравливаясь к боли, и, пожав Огареву руку, похромал по тротуару. Хотите, я провожу? – спохватился Огарев, но мужик, оглянувшись, успокоил – сам добреду, не бойсь. И приходи обязательно. Чемпионом станешь.

Огарев пришел и провел в секции тяжелой атлетики четыре счастливейших года своей жизни. Только чемпионом, конечно, не стал. Матюкин ошибся. В крошечном потном спортивном зале, среди громыхающих блинов и скользких матов, Огарев стал протестантом.

Нет, никакого чуда на самом деле не произошло. Конечно, литературная традиция, слишком часто и властно заменяющая в наших широтах настоящую жизнь, настоятельно требует вознаградить героя за труды. Трансформация из недоумка – в лебедя. Сотворение человека. Посрамленный отец, покоренные одноклассники, влюбленная Неточка, суровый и одинокий уход в пылающий будущими свершениями горизонт. Предварительно – короткая и мужская драка с хулиганами, никак не ожидавшими от вчерашнего заморыша таких убедительных хуков и люлей. Огарев сам читал про такое тысячи раз. А потом и смотрел – когда открыл для себя кино, еще одну увлекательнейшую реальность, опасно соперничающую с действительностью, сероватой, пыльной, некрасиво слежавшейся по швам.

Что бы мы вообще делали без Голливуда?

На что бы надеялись? Чем бы жили?

Но – нет, никто не заметил ничего, разумеется. Книги, которые Огарев продолжал поглощать, не вписывались в школьную программу никак, даже если и были ее частью. Так «Война и мир», поразившая его, как иной раз поражают средневековые соборы, простые, огромные, насквозь пронизанные светом и временем внутри, по учебнику считалась выразителем какой-то мутной «мысли народной», зато про самое важное и интересное не было ни слова. Правда, как-то раз Огарев попытался на уроке рассказать о том, что тронуло и задело его в романе, пожалуй, больше всего. Не отрезанная нога Анатоля Курагина, не атака кавалергардов (блестящие, на тысячных лошадях богачи, юноши, красавцы, из которых в живых осталось только осмнадцать человек), не Наташа Ростова, которую он невзлюбил сразу, как можно невзлюбить только младшую сестру, а образок. Ну, серебряный образок, который княжна Марья надела на шею Андрею Болконскому в начале книги. А в конце солдаты снимают с раненого князя уже золотой образок на золотой цепочке – и эта маленькая толстовская неточность была таким ярким и невероятным свидетельством могучего хода романного времени, что у Огарева от ужаса и счастья дыбились волоски на предплечьях.

Но когда он, путаясь в словах, заикаясь, помогая себе руками и даже плечом, попытался рассказать об этом на уроке, умявшиеся от скуки одноклассники даже не заржали, а словесник, кислый, крепко попивающий мужичок, только пожал плечами и вlepил Огареву точку в журнал – грозившую превратиться в полноценные два балла, если к следующему уроку ты, болван...

Ну и так далее, так далее, кондуит и швамбрана, очерки бурсы, зубрежка от сих до сих.

Спортивные успехи Огарева тоже нигде негодились, так и остались незамеченными. Конечно, тренер радовался каждому очередному весу, хлопал по плечу, науськивал на рекорды, но даже сотня выжатых металлических кило не прибавляла Огареву ни капли внешней агрессии. Его по-прежнему толкали, затирали – в очереди в столовую, на перемене, не подозревая даже, что он без особых усилий способен сломать любому из своих обидчиков ключицу. Крепкая, между прочим, кость. И Огарев послушно сторонился. Отступал добровольно в тень. Не делал даже попытки выставиться – и так и остался для всех серым, угрюмым, молчаливым обитателем предпоследней парты.

Это был дефект личности, конечно. Возможно, урожденный. Возможно, просто причудливый вывих воли, неожиданный подарок дорогого отца, но только Огарев за всю свою жизнь так и не научился встраиваться в систему. Просто не знал, как надо. Не понимал. И никогда не понял. Потому так и остался – обычным врачом, приметным только для тех, кому было действительно плохо.

Бойкие, громогласные, просто наглые с легкостью занимали все лучшие места – и никакая мировая справедливость не работала там, где в ход вступали крепкие локти и такое же крепкое, непрошибаемое самолюбие. Пока Огарев всерьез, натужно, мучительно размышлял, имеет ли он право высказаться и достоин ли быть услышанным, вперед уже проталкивался кто-то, не способный сомневаться в принципе и потому счастливый, господи, совершенно счастливый. Уверенный в себе. В том, что умный. Лучший. Единственный на свете.

Пик расцвета этого наглого пустоголовья пришелся на пик расцвета социальных сетей. Собственно, одно породило другое, вернее, одно паразитировало на другом, это был настоящий праздник питательной падали – миллионы крошечных постаментов, с которых, надсаживаясь и приподнимаясь на цыпочки, кричали о себе самих миллионы махоньких наполеонов.

Огарев, слава богу, взрослый уже, не питающий напрасных иллюзий, изумлялся, как могут тысячи и тысячи людей не понимать, сколько достоинства в молчании. Это же было так очевидно – громче всего звучал именно пустой барабан. Честность, истина, вера, мужество, талант – все лучшее, чем мог похвастаться человек, существовало в беззвучии, в немоте безостановочного, мало кому заметного и только потому результативного труда. Набоков, вопящий о своей гениальности, Лев Толстой, извергающий сотни постов в день – вот я поел,

вот послал, вот разразился крылатой фразой. Это было невозможно. Физически невозможно. «Фейсбук» стоило придумать только для того, чтобы показать нам наше истинное величие. Эра бесплодных бахвалов. Пустая, грязноватая, граненая, как стакан.

И как знать, не будь у Огарева спортивного зала в Доме культуры, он бы, может, тоже в сорок лет пыжился, как другие, – подпрыгивал, мотал руками, вопил. Вот, вот я, Господи! Посмотри, какой удалец. Ниспровергаю, готовлю рататуй с раковыми шейками, спасаю леммингов, борюсь с мировым злом. Вот мои сиськи, вот мой котик, мой сладкий сынулька, мои бусики, мой ничтожный, крошечный, никому не нужный мир. Конечно, многие кричали от отчаяния, от страха, это был Ухов, катаевский Ухов, Ухов, Ухов, отчаянно корябающий на стене свое имя, пока его волокут на расстрел. Но для тех, кому доставало мужества и достоинства молчать, время все-таки имело другой отсчет. Раз за разом выжимая в спортивном зале старенькую поскрипывающую штангу (скрипела не штанга, конечно, даже не мышцы – воля), Огарев понял необыкновенно важную вещь. У него был предел. У каждого был. У любого. На каждой тренировке они, мосластые, худые переростки, отмотав свои четыре разминочных километра вокруг стадиона, собирались вокруг большого стола, на котором, под мутным пластом плексигласа, лежал план занятия.

Жим лежа, становая тяга, подъем на грудь – невозмутимый Матюкин рассчитывал их сегодняшние веса в процентах от предельного. Предел определялся легко – это был вес, который ты не в силах оторвать от земли. Именно наличие этого предела и делало человека – человеком. Но самое главное было не в том, что предел существовал, а в том, что его можно было увеличить. Сотни, тысячи монотонных движений, усилие за усилием, рывок за рывком – и предел увеличивался. Шестьдесят килограммов в толчке превращались в семьдесят. В семьдесят пять. Это был видимый результат тяжелого труда. Это была правда. Чистая и честная правда. Стертые волосы на бедрах, каменные мозоли на ладонях, выпиленная на ногтях больших пальцев бороздка для лучшего хвата, канифоль, магnezия, растертая по бедрам и по груди, – в то, что терпение и труд все перетрут, Огарев поверил именно благодаря Матюкину. Только множество незаметных, честных, тяжелых усилий приводили к истинному результату. С наскока можно было хапнуть что-то только один раз. Да и то случайно. Удел трусов и подлецов. Настоящую радость приносила только настоящая работа. Гумилевское гениальное – какой же я интеллигент? У меня, слава богу, профессия есть – Огарев тоже выстрадал и понял в спортивном зале.

И что с того, что никто так и не заметил, какой он стал крепыш? Как вырос? Какого тихого достоинства набрался? Как зауважал себя – незаметно, молчаливо, за дело, не за крик? С 1985 по 1987 год Огарев добился главного – стал человеком. Оставалось выбрать только профессию. Дело по душе. Дорогой мой человек. Дело, которому ты служишь. Я отвечаю за все. Скучнейшие книжки. От одних названий – дрожь. Огарев никогда и не помышлял о медицине. Святость – это было точно не его. Даже не просите.

Как это часто бывает, всю оставшуюся жизнь определила череда мелких, незаметных шажков. Тихие крючки, шестеренки, невидимые зубчики, голубиное перо, невесомо опустившееся на спину всхрапнувшего от усталости быка, – Богу никогда не было жаль времени на мелочи, тонкую подгонку деталей, на милые, Ему одному заметные пустяки. Чего стоила только эволюция, боже мой, – вот уж трудно найти более неопровержимый аргумент, доказывающий существование Бога. Эта видимая любому естественнику прекрасная кропотливая работа – однокамерное сердце, двухкамерное, трехкамерное, наконец, четырехкамерное – а вот это я здорово придумал, хорошая идея, попробуем-ка повертеть еще немного и посмотрим, что получится. Привет, крокодил! Именно на твоём сердце я тренировался, создавая первого человека. Просторный верстак, миллионы лет изумительно точной работы, приятная ломота в плечах, шершавые пальцы, тихая гордость ремесленника и профессионала.

В десятом классе выпускников то и дело таскали на дни открытых дверей в разные вузы – социальные лифты хоть и подвывали уже от дряхлости, но все еще работали бесперебойно. Стране по инерции было не все равно, что будет дальше, и остаться никем удавалось только по-настоящему безмозглым и ленивым индивидам да неподдельным гениям. Остальных бодро разбирали, самых талантливых вообще придиричиво вели с детства, пестовали, лелеяли, перебирали плевелы, сдували человеческую шелуху, пока в горсти не оставались только полноценные, спелые, горячие зерна. За Огаревым, крепким честным середняком, никто, конечно, прицельно не охотился. Поэтому он простодушно и даже самоуверенно не знал, кем хочет стать, пока их гуртом не пригнали во Второй мед, недавно отремонтированный, сияющий, нездешний. Огромные аудитории, новенькие, с иголки, лаборатории, невероятные трехсотметровые коридоры, по которым быстро, будто бы по делам, спешили студенты в белых халатах, и от каждого веяло тугим сквознячком тоже нездешней и удивительно взрослой свободы.

Да ну, лягушек резать придется, брезгливо скривилась Неточка (господи, дура какая! И правда – дура!). И умерла уже окончательно. Навсегда. Огарев с первого взгляда влюбился не в медицину, а в мединститут. Дома было грязно, тесно и уныло, родная окраина стремительно закисала, заванивалась, словно забытая в ведре старая половая тряпка, а это огромное новое здание было целиком из будущего. Огарев выбрал завтрашний день. Чистый, стерильный, свободный мир.

И – прогадал.

Медицина оказалась совершенно чужим, непонятным и неприятным даже делом. Относительная легкость поступления (мальчик, спортсмен, москвич – не нуждается в общежитии, не ускользнет в декрет, устойчив психически) сменилась невыносимым адом первого года учебы. Латынь, три химии, физика, биология, история КПСС – все это было, как в школе, ни для ума, ни для сердца, скучно, скучно, скучно. Но анатомия! О которой предупреждали, которой пугали и которая оказалась много хуже всего, что Огарев только мог себе вообразить. Тупая, бессмысленная, бесконечная зубрежка. Термины, принципиально не имеющие никакого смысла, расплывающаяся от усталости кровавая картинка из атласа, пучки белесых нервов, закоулки, органы, пазухи, волокна мышц. С невероятным трудом перевалив через первую сессию, Огарев к весне был готов признаться самому себе, что совершил ошибку. Он забросил спорт (бедный, бедный Матюкин), хронически, нет, даже не так – злокачественно не высыпался, но легче не становилось. Отец оказался прав – дуракам не место в институте. Мед надо было бросать, пока не поздно, пока остатки самолюбия еще можно было различить на самом дне мусорного ведра. Но уходить самому не хотелось отчаянно. В конце концов, на первом курсе тяжело было всем – с легкостью преодолеть атлас Синельникова мог только идиот, способный к бессмысленному запоминанию любого объема информации. «Человек дождя». Сколько лет еще жить без этого фильма... Но нет, не могу, просто не могу больше раскачиваться часами, словно средневековый школяр, долдоня *Ingentes ac immortales habendas esse gratias ijs, qui opus antiquioribus elaboratum temporibus restitunt...* И снова – *Ingentes ac immortales habendas...*

И все ради того, чтобы еще несколько лет ходить просторными коридорами и потом всю жизнь изображать доктора Айболита?

Огарев, почти девятнадцатилетний, рослый, крепко и щедро накачанный (хватило, кстати, на всю жизнь, и много лет спустя Маля ахала, беря его под руку, – горячая легкая ладонь, горячий круглый, словно навсегда запомнивший пик своей идеальной формы бицепс), ночами едва не плакал от усталости и отчаяния. Кто-то должен был решить за него, что делать, все равно кто, лишь бы не он сам. Но родители помочь ничем не могли, отец – как всегда, не хотел, мать тихо страдала от молчаливых мигреней, которые становились все чаще, все чаще, все тошнотворнее. Вот станешь врачом, сынок, будешь давление мне мерить иногда... Смотрела просительно, жалко. Протягивала холодную робкую руку – дотронуться. И не решалась.

Хоть бы война, что ли, какая-нибудь началась...

Спас всех Язов, министр обороны СССР, вдруг вздумавший забрить в рекруты прежде неприкасаемых студентов – будто и правда предчувствовал близкую войну, они же все тогда томились, все до одного, все бормотали – пусть сильнее грянет буря. Двадцать седьмой съезд КПСС. Курс на перестройку и ускорение. Перекосившийся от старости почтовый ящик в перекосившемся от отвращения подъезде. Кошка Пихаревых с третьего этажа скоро дырку тут просыт, тудыжеемать!

Огарев держал в руках повестку – и, честное слово, не было на свете человека счастливее, чем он. Только армия могла стать решением всех его проблем, конечно. Армия, война. Так часто бывает. Закон сохранения горя. Иногда, чтобы спасти жизнь человека, требуется отобрать великое множество жизней других. Или взять взамен одну единственную, но опять же – ни в чем не повинную, чужую. Огарев пока не знал об этом, поэтому ему было плевать. Он шел в армию, черт возьми. Его забирали! Хоть недолго не думать. Ничего не решать. В городском сборном пункте на Угрешке «покупатели» выбрали его одним из первых. Студент-первогодок, штангист-разрядник, ясные глаза, светлые волосы, густота подшерстка, форма черепа, национальность, рост, вес. Комковатость лап просто необыкновенная. 1988 год. Весна. Прощание славянки.

Урааааа!

Не слышу, солдатушки!

Ураааааа!

3 июля 1989 года Огарев стоял в карауле.

Вернее, не стоял – а обходил, согласно уставу караульной службы, привычный периметр. Вычислительный центр, унылый, длинный, как тюремный барак, с по-тюремному же зарешеченными узкими окнами. Еще один ВЦ – круглый, огромный, бетонный. Угу, именно круглый – как цирк. Внутри, по слухам, громоздилась циклопических размеров ЭВМ. А может, и вообще ни черта не было. Или картошку хранили на зиму. Молчи, тебя слушает враг! Космическая тарелка АФУ. Ряды колючки справа и слева, проволочная система «Радиян», «Сосна», снова колючка, невидимая, уютно свернувшаяся в траве, готовая принять утратившего бдительность супостата, контрольно-следовая полоса. Почему-то Огарева чаще всего ставили в наряд именно сюда, к АФУ, так что он даже начал считать антенно-фидерное устройство своим собственным, чуть ли не родным. Этакая нелепая громадина, нуждающаяся в его персональной защите.

Не боись, сеструха, не тронут.

За всеми рубежами охраны, почти вплотную подступая к объекту, стояла тайга. Огарев до армии считал ее чем-то вроде Леса из «Улитки на склоне» – невнятная ухающая и вздыхающая биомасса, полная опасных тайн, непродираемая и непролазная. Ерунда, книжные глупости. Нелепые выдумки москвичей. Тайга в Красноярске-26 оказалось удивительно чистой, даже торжественной. Строгий сквозной сосновый лес, только в самой глубине, едва постижимой взгляду, сливающийся в одно сплошное страшное марево. Грандиозные ровные стволы даже в самую безветренную погоду тяжело и безостановочно поскрипывали, а зимой, пугая солдатиков, издавали совершенно чудовищные стоны, низкие, рычащие, точно кто-то там, внутри тайги, доходил до последней степени боли и отчаяния – и становился человеком.

Зимой было холодно, кстати, – просто невероятно. Даже в караульном тулупе.

Особенно почему-то мерзла задница.

Но 3 июля в Красноярске-26 стояла жара.

Огарев шел тропой наряда. В самом этом словосочетании было что-то увлекательное, мальчишеское. Почти счастливое. Тропа наряда. Как тропа войны. Огарев прослужил уже чуть больше года и совершенно обвыкся в армии, как обвыкаются с не очень удобной поначалу обувью. Просто потому что другой нету, а босиком, сами понимаете, долго не походишь. Служба,

на которую он возлагал такие надежды, поначалу бесила своей откровенной дебиловатостью: выпученные глаза, бесконечный надсадный ор, сотни раз отданные и лишённые всякого смысла приказы. Не думать и не решать оказалось так же сложно, как и думать. Но потихоньку, не сразу, армия наполнилась содержанием. Даже значением.

Огарев, выпестованный отцом, который до объяснений никогда не опускался, подчиняться умел, но не любил. И насилия не выносил совершенно. Рывканье «лечь-встать», повороты и замирания на месте, вся эта многочасовая и нудная отработка нехитрых и очень условных рефлексов долго казались ему верхом тупоумия. Он хотел понимать, что и зачем делает. Это было унижительно, черт подери. Скакать мартышкой, бегать с полной выкладкой, ползать пузом в грязи Огарев был не против совершенно, в конце концов, это было вполне пацанское времяпрепровождение, грандиозная игра в войнушку – только с настоящим оружием и настоящей усталостью. Даже получать кованым сапогом под дых – это было нормально, пресс надо было набивать, это Огарев понимал, в спортзале тоже частенько бывало больно, но там результат и конечная цель были понятны и ясны, сливаясь, в конце концов, как и положено, воедино. Сотни повторов и подходов превращались в мышечную массу, сплошной твердый корсет, стягивающий спину, спина распрямлялась, рывком, толчком – вес ведь берут спиной, вы же знаете? – и изогнутый под тяжестью блинов гриф поднимался на очередную, рекордную высоту. Огарев брал сто десять в толчке. Неплохо для паренька с рабочей окраины. Но на раз упор лежа, на два – отжаться тридцать минут подряд – это было зачем? Родину защищать? Так Огарев стрелял лучше всех в роте. Лучше бы в тире эти тридцать минут, честное слово, товарищ капитан.

Ротный, капитан Цыбулин, смешной и страшный человечек с косым пузцом и в круглых, как у Добролюбова, дурацких очках, которые он почему-то называл «окуляры» (убивать – такая же профессия, как и все остальные, на нее всякий годен, вот я, например, годен даже в окулярах), вздыхал недовольно. Москвичей, да еще студентов, он на законных совершенно, армейских основаниях не любил, да и было за что. Но Огарев Цыбулину нравился – ершистый и головой варит, не отлынивает. Ясно было, что солдат из Огарева как из говна пуля, слишком уж умный. Зато офицер мог получиться что надо. Перестань думать, Огарев, советовал Цыбулин от всей души. Думать – больно. Просто выполняй приказ. Огарев выполнял, но при этом картинно морщился и язви́л, вполголоса, но так, чтобы ротный слышал, разлагал, понимаешь, моральную обстановку во вверенном Цыбулину воинском подразделении.

И дозвонился.

Солдатики, расслабленные, потные после спарринга, смолили у фанерного щита с самопальным плакатом «Родине – отличную службу!», Огарев, кстати, и намалевал его – перьями, даже без трафарета, талантливый парень все-таки, жалко, что москвич. Курили всякую дрянь – достать «Приму» считалось большой удачей. В солдатском магазине продавались только северо-корейские Chindallae, белые, с голубым маяком, и Kumsudae, с желтой птичкой на пачке. Их еще называли портянками Хо Ши Мина. Зверская гадость. Просто небывалая. Оружие массового поражения. И все равно – курили, взатыг, взаклеб, и даже не кашляли, молодые, здоровые, голые по пояс веселые долбецы. Пушечное мясо. Ржали, скаля белые зубы. Как большие, как взрослые, рисуясь, сплевывали в пыль. Огарев чуть пригнулся, принимая от товарища крошечный спичечный огонек, с удовольствием втягивая ноздрями свежий серный запах, он всегда любил спички, вкусно, и грызть, кстати, тоже – так что неожиданный окрик «лежать» застал его в самый неудобный расплох. Обе руки заняты (прикрывать огонь), в зубах – незажженная сигарета, спина ссутулена, ноги – черт знает что там было с ногами, Огарев про них забыл, потому что в следующую долю секунды перед носом у него уже были крупные поры пыльного асфальта и неторопливо, вперевалку, преодолевающий их черный муравей. Неподалеку валялась догорающая спичка. А из того места, которое только что загоразживала огаревская стриженная голова, торчала, чуть покачиваясь в щите, саперная лопатка. И лезвие ее, любовно нато-

ченное капитаном Цыбулиным, аккуратно рассекло букву «о» в слове «Родина» – словно кто-то вдруг произнес его с иностранным акцентом.

Остальные солдаты стояли, обомлев, как будто играли с ротным в «Море волнуется – раз». На плацу лежал один Огарев.

Понял теперь? – спросил Цыбулин, без усилия выдернув из щита лопатку. Огарев, медленно, как во сне, поднимаясь, кивнул. Муравей все еще полз. Спичка все еще догорала, корчась. Много лет так будет. Много-много лет.

Я же говорю, отличный станешь офицер, присудил ротный удовлетворенно и спрятал лопатку. Ярости в тебе только маловато.

Вот это он зря.

Ярости в Огареве было хоть отбавляй.

3 июля 1989 года. Понедельник. Полдень. Двадцатый век. Жара. Как Огарев любил Стругацких, даже «Стажеров» их невозможных! Все равно любил. Читать. Лежа, сидя, стоя. За столом. В туалете. Ты выйдешь, наконец, или нет? Веревку, что ли, проглотил?! В троллейбусе, вися на поручне. В метро, спиной к дрожащей, стремительной стене. Вообще читать – значило жить.

В тайге вдруг пальнули – не очень далеко, гулко. Ничего удивительного, местные промышляли тайгой, когда никакого Красноярска-26 еще в помине не было, тут охотились все, включая пацанов, едва переросших двустволку, – браконьерствовали по-тихому, конечно. Но ведь жрать-то что-то надо. Особенно в 1989 году – СССР разваливался, бессильно оседал в грязь, безобразный, жалкий, как старик, пьяный, потерявший шапку, жену, совесть, облик человеческий, но все еще живой, живой почему-то. Шуршали вокруг, разбегаясь, республики, каждая со своим вороватым суверенитетом в зубах, в «Известиях» впервые опубликовали частную коммерческую рекламу, в стране бастовали, объявляли забастовки, все трещало по швам – Огарев ничего не замечал. Выходили книги, книги, книги. Репринты, архивы, прижизненные, никогда прежде не публиковавшиеся, свеженькие, теплые, только что из письменного стола.

Читать было даже интересней, чем жить.

В увольнительную Огарев оторвал в книжном «Мастера и Маргариту» Булгакова, нес, прижимая к твердому молодому животу, обмирая от радости, будто ребеночка из роддома, да что там – будто выстрадавшую в очереди заветную водку. Дежурный по части старший лейтенант Злотников глянул на обложку, крикнул – и сорвался в самоволку, родная душа, чокнутый советский читатель, благородный дон, он сам стал потом писателем-фантастом, довольно даже известным, и всякий раз, встречаясь глазами с его томом на магазинной полке, Огарев улыбался и вспоминал Красноярск-26, улицу Школьную, разбитый асфальт, теплый переплет, Коровьева, Бегемота.

Единственное, что может спасти смертельно раненного кота, – это глоток бензина. . .

Он ржал ночью в казарме так, что его чуть не отлупили. Спасибо Станкусу, который, едва продрал глаза, рявкнул, так что все только порскнули, как тараканы, по углам, здоровенный был литовец, что твоя гора, очень уважал Огарева, считал его отчего-то своим, деревенским, хуторским, несмотря на очевидную бредовость этого искреннего убеждения. И таким же своим считали Огарева поляки, тоже литовские, со Станкусом, наоборот, глухо враждовавшие – какое-то там не поделили они сало, не могли простить друг другу какую-то стародавнюю кровь.

Все считали Огарева своим. Кроме него самого.

Надо было, конечно, остаться в армии. Сейчас бы уже выслужился до крепкого майора, сколотил заговор и вычистил бы всю эту нечисть к едрене фене. Ну, хотя бы попытался. Умер бы героем, расстрельным, дурным, стоял бы, словно в хорошей детской книжке, у кирпичной стены, грыз горькую былку, смеялся, как мужчина, как Николай Гумилев, нет, шел бы кори-

дором, как во взрослом страшном кино, мимо намертво замкнутых дверей, мимо, читатель, мимо, навстречу заветной камере – ляг, шаг к стене, шаг внутрь, выстрел в затылок. Кровь, уходящая бетонным желобом прямо к Богу.

Или, что вернее, спился бы давно от отчаяния, от стыда, от скуки, в дальнем гарнизоне. Все что угодно – только не то, что сейчас.

Выстрел грохнул еще раз. Чуть ближе. Он был какой-то странный, будто ненастоящий, и Огарев снова не испугался, ну, охотятся, может, из мелкашки голубей решили набить к обеду, есть же тут голуби, в конце концов? Солдатики, например, при случае жрали змей – ничего, даже вкусные. Правда, патроны на них никто не тратил. Это была первая ошибка – не жрать змей, конечно. А не подумать про понедельник. Местные охотились только по выходным. Это было недолгое время пьянства и свободы. С понедельника по пятницу они, как и положено добропорядочным гражданам, впрягались в унылую узду, чтобы шаг за шагом тянуть свою до отказа груженную жизнь по направлению к неминуемой смерти.

3 июля был понедельник. Понедельник. Но в армии у Огарева все дни были понедельниками. Абсолютно все неразличимые дни.

Он прошел еще десяток шагов, сапоги вкусно хрустели по гравию, круглый вычислительный центр остался сзади и слева, еще метров триста – и он по едва заметной дуге завернет за АФУ и пойдет уже навстречу караулке. Скоро точка связи, смешная, в сущности, штука – столбик, торчащий из земли. Нужно будет достать из сумки телефонную трубку с вилкой, торчащей прямо из черной эбонитовой задницы. Трубка втыкалась в розетку, караульный бодро рапортовал, что точка связи такая-то, все чисто, полет нормальный. Неподалеку от точки связи высился бункер – на самом деле небольшой, по пояс примерно, окопчик, из которого предлагалось отстреливаться от вероятного противника, если он вдруг окажется не только вероятным, но и очевидным.

Огарев достал из сумки трубку, приладил к столбику, дождался щелчка. Пахло горячей смолой. Воздух был звонкий и золотой от жара. Курить хотелось просто отчаянно. Точка связи четвертая, начал он лениво, но оператор перебил – четвертый «Радиян», в ружье! Огарев сплюнул. Бежать очень не хотелось. Наверняка всего-навсего сработала «Сосна». В караулке зазвенела сигнализация – противно, надсадно, замигала перед носом у оператора лампочка на пульте. Станкус, одуревший от скуки, уронивший тяжелую башку на стол, должно быть, даже не проснулся. Повторите, попросил Огарев, несколько не беспокоясь. «Сосна» срабатывала часто – от ветра, от сильного дождя, хрен знает от чего. От старости и скуки. Они привыкли к этому. Сигнализация никогда ничего не означала. Плохое могло случиться с кем угодно, кроме них, девятнадцатилетних охломонов, бестолковых защитников своей Родины, которая больше не тянула быть великой. Это была ошибка номер два. Можно не верить в противника. Даже в смерть. Но никогда нельзя недооценивать Бога.

Четвертый «Радиян», в ружье! – рявкнул оператор еще раз, уже пободрее, судя по голосу, они со Станкусом дрыхли там на пару. Жарко. Огарев доплелся бы по своей тропе наряда до караулки и тоже блаженно задрых. Он поправил на плече автомат и прибавил шагу. Что-то было не так. Что-то ворочалось в нагретой голове, что-то неправильное, цепляло зубчиком, как будто мешало. «Радиян», вдруг понял он. Оператор сказал – «Радиян». Значит, «Сосна» уже звенела. Значит, это не ветер. Вообще никакого ветра нету, черт подери!

Огарев сорвал с плеча автомат и побежал. Это была третья и последняя ошибка. Последняя из вообще отпущенных ему в этой жизни. Если бы автомат не был у него в руках. Лишние десять секунд. Может, пять. Если бы. Если. Бы. Где-то далеко, с другой стороны, топя сапогами, бежал от караулки Станкус.

Огарев добежал первый.

Но еще раньше он увидел человека. Он его увидел. Высокого, сидящего на корточках под «Радияном» – Огареву показалось на мгновение, что человек совсем черный и гладкий,

как будто тюлень или боевой пловец, это было глупо и почему-то смешно – сразу десяток книг прошелестел в голове быстрыми страницами, все шпионские романы, все подвиги разведчиков, все человеки-амфибии и почему-то даже мокрый, облепленный тиной Дуремар. Нож на шее Маугли, нож на поясе Ихтиандра. Борщ, капнувший с забытой ложки на раскрытую страницу. Не читай за столом, сколько раз можно говорить, урод!

Человек распрямился.

Хрен знает, как он вообще продрался через все препоны.

Стой, назад! – заорал Огарев.

Человек не послушался – шагнул навстречу, как-то странно, балансируя и расставив руки, точно шел не по земле, а по канату, натянутому над замершими зеваками, нелепый Тибул, черный гимнаст, пытающийся спастись с площади Звезды через люк.

Стой, стрелять буду!

Человек взмахнул руками еще раз – и Огарев увидел пистолет.

Сразу стало очень тихо.

Огарев беззвучно шелкнул флажком предохранителя, невесомый, как будто игрушечный, автомат дернулся, посылая в горячий воздух одиночную пулю, беззвучно бежал Станкус, разинув ужасный, черный рот, совсем близко, очень близко.

Человек шагнул еще раз и сделал странный жест, будто пытался не то прикрыться, не то взлететь, и тут отпущенные ему и Огареву десять секунд наконец-то закончились. Предохранитель прыгнул вниз на еще одну риску, и Огарев коротко, щегольски, четко, как на стрельбах, срезал движущуюся мишень аккуратной, экономной очередью.

Человек упал, сразу. Как будто его и не было.

Огарев, все еще совершенно беззвучный, подошел, едва передвигая огромные, распухшие какие-то сапоги. Автомат в его руках никак не мог успокоиться, все тыкался вперед, как живой, как живой, водил хищным жалом, выбирая, во что бы еще прицелиться.

И тут, снова как у Стругацких – помните? – неожиданно включили солнце.

Свет, звук – все вернулось к Огареву разом, словно целый мир взорвался внутри его головы. 3 июля 1989 года. Полдень. Мале два года, она передвигает по солнечному полу деревянные кубики – самый любимый, страстно обкусанный по краям – с буквой «я». Видишь, Малечка, это – «я». Я. Я. Я. Что за странное слово? Неужели вот тот – это я?

На тропе наряды лежал мальчишка. Лет четырнадцать.

Очередь аккуратно, по диагонали, разрешила его грудную клетку. Почти пополам. Когда Огарев подошел, мальчишка был еще жив, вернее – еще смотрел, хотя вряд ли что-то видел, во всяком случае, точно не Огарева, не подбежавшего наконец Станкуса, теперь Огарев слышал, как Станкус дышит, стоя у него за спиной, – пытит, как изношенная паровая машина Черепанова. Мальчишка был в черном спортивном костюме, дешевеньком, хлопчатобумажном, с вечно вздутыми пузырями коленями и грустно обвисшей задницей. Только самые жалкие лохи ходили в школе на физру в таких костюмах.

У Огарева как раз был точно такой.

Неподалеку валялась пустая старенькая ракетница.

Мальчишка издал короткий звук, точно собирался стравить себе на грудь свой последний завтрак – что они ели с мамкой по утрам? Вчерашний ужин? Яишню с салом? Серый хлеб со сливочным маслом и сахарным песком? Но не смог, только дернул горлом, выдавливая на подбородок сгусток темной крови, блин, простонал Станкус, блин, блин, как будто сам давился кровью, а Огарев все смотрел, смотрел, хотя мальчишки уже не было, ничего не было – ни черного коридора, ни света, ни ангелов, ничего. Только орал, поднимая всех в ружье, услышавший стрельбу начальник караула да хотелось курить.

Очень хотелось.

До горькой слюны.

Даже сильнее, чем раньше.

Огарев аккуратно поставил автомат на предохранитель, развернулся и пошел в сторону караулки.

Неделю потом его таскали от командира части к особисту, потом к психологу и снова к особисту, трясли за плечи среди ночи, предлагали валерьянки, водки, дисбат, отпуск домой, снова водки, может, укольчик ему все-таки, суке, товарищ капитан? Или по морде надежней?

Все напрасно.

Огарев был совершенно, совершенно спокоен.

Его даже ни разу не вырвало.

Просто он убил человека.

Ничего не изменилось, нет. По крайней мере внутри Огарева – точно. Он по-прежнему отлично – сообразно возрасту и аппетиту – ел и спал, быстро и четко отвечал на вопросы, а будучи оставлен наконец в покое, не проявлял решительно никаких признаков душевного расстройства или хотя бы легкого огорчения и, как и прежде, всему на свете предпочитал книжки. Что читаете, рядовой Огарев? Сочинения графа Льва Николаевича Толстого, вашбродь! В кандалы мерзавца. Запороть до смерти! Атставить. Вольно. Можете курить.

Тем не менее в части вокруг Огарева сам собой образовался опасливый холодок, этаким карантинный спасательный круг, меловая черта, намалеванная перепуганным бурсаком на полу старой церкви. Чур меня, чур! Никакое зло не могло заступить за эту черту, вот только злом неожиданно оказался сам Огарев, стоящий внутри невидимого огненного круга. Весь он был в черной земле. И с ужасом увидел Хома, что лицо было на нем железное... Даже Станкус старался держаться подальше, словно опасаясь чумных миазмов. Даже ротный. Даже он! Безупречно выполненный приказ как будто вычеркнул из числа живых не только нелепого подростка (экспертиза показала, что невинно убиенный был накачан брагой до миндалин, до детских припухших желез), но и самого Огарева. А ведь он просто выполнил команду «лежать». Выполнил как учили. По приказу.

Как это часто бывает в армии и в тюрьме, спасение пришло свыше. Сила одного приказа отменила силу другого. Пока отцы-командиры мучительно соображали, отправить Огарева в незаслуженный отпуск или сразу перевести от греха в другую часть, Верховный Совет СССР разразился постановлением «Об увольнении с действительной военной службы отдельных категорий военнослужащих срочной службы». Всех призванных по язовскому указу студентиков с той же механической срочностью, с которой когда-то забирали, выпнули из армии назад, к мамкиному подолу. В отношении Огарева машина сработала особенно четко. Армия отторгала его, выдавливала – словно занозу из здорового пальца. Хлопотливая работа полиморфно-ядерных лимфоцитов, кислород и галоиды, превращающиеся в перекись водорода и активированный хлор. Высокое чудо рождения гноя. Мы обеззараживаем себя сами, мы это умеем. Хлорка, перекись. Все свое ношу с собой. Заноза выплывает из пальца, края раны смыкаются, соединительная ткань торопливо проштопывает ее по краям. Волшебная дверца снова прячется за нарисованным холстом.

Ты царь. Живи один. Ты нам здесь нах такой не сдался. Даже даром.

Постановление вышло 11 июля 1989 года, а 12 августа Огарев уже стоял у подъезда собственного дома, в никчемных своих, дешевеньких серых брюках, в голубой клетчатой рубашке, спортивная сумка через плечо, потрескавшийся черствый кожзам. Форма осталась в части. Давай уж по гражданке, Огарев, тебе еще через всю страну в общем вагоне переться. Вэвэшникам теперь не все рады. Сам понимаешь.

Боялись. Его боялись, конечно. Не за него.

Огарев кивнул и на все положенное ему денежное довольствие купил билет на самолет. Мать выбежала, всплеснула руками, заплакала, тот же уныло обвисший халат, та же одутловатая бледность, тихий сырой запах скуки и тоски. Новыми были только лопатки под ладонью

Огарева – вывернутые, огромные, твердые, как будто обглоданные уже. Как будто. Как давно он, оказывается, мать не обнимал. Как давно. Еще сильнее похудела, а уж кажется, больше невозможно. Что в стране-то творится, сынок. Не знаешь, что и думать. Заходи, заходи, чего же это мы на пороге...

Потолки и деревья стали низкими. Обои постарели еще сильнее. Отца не было. Как всегда. Хотя в этом ничего не изменилось. Он пришел только поздно вечером, по-деловому пожал Огареву руку, по-деловому же предложил выпить за приезд. Огарев отказался, грубо, как пацан, зря. Вышло еще хуже – будто он не брезгует, а просто трусит. Отцу, впрочем, явно было наплевать на оба варианта. Вечером мать привычно клюнула Огарева в лоб, привычно закрыла за собой дверь в родительскую комнату, прищемив грязноватый свет, слабый, как будто тоже безнадежно усталый. Огарев все так же, как в детстве, стиснул от ярости кулаки, скрипнул под ним пожилой диван, который отец называл – Ленин с нами. Ничего не изменилось. Почему этого никто не замечал? Совсем ничего!

Кроме самого главного.

Вместо того чтобы забрать документы из медицинского, что было бы безусловно правильно, Огарев просто перебрал их с лечебного на педиатрический. Детишек лечить – дело хорошее, одобрила секретарь декана, старушка, желтая и прочная, как височная кость. Мужчин у нас в педиатрии мало, мужчины у нас – на вес золота. Она все сыпала и сыпала свои старческие, сухие, как овечий горох, трюизмы. А Огарев равнодушно смотрел в окно поверх ее головы – пустыми, светлыми, взрослыми глазами. В сущности, он вернулся в ту же точку, из которой ушел, – в ту же комнату, в те же аудитории, в те же, едва-едва, самую малость, поблекшие коридоры. Только факультет был теперь другой да бывшие свои, обогнавшие Огарева на целый год, едва здоровались, важничая. Считали себя большими. Огарев усмехался, затягиваясь очередной сигаретой. Ему было так же трудно – наверное, даже еще трудней, чем раньше. Просто теперь он точно знал, что должен стать врачом.

Именно врачом. Никем другим.

Лечить детишек, ха.

Огарев окончил институт в 1994 году.

Последние четыре курса – третий, четвертый, пятый, шестой – на одни пятерки. Его отщелкнуло на патанатомии – словно кто-то снял с ресниц паутину, длинную, липкую дрянь, едва ощутимую, но мешающую даже не видеть – просто навести резкость. Унылая зубрежка и такие же унылые, вгоняющие в отчаяние тройки начальных курсов (желание бросить все к чертовой матери, выспаться и устроиться на завод возникало еще не раз и не два) сошли разом, будто подростковые прыщи. Все стало ясно – Огарев вдруг понял, как устроен человеческий организм. Фраза, которая стала потом его фирменной, – давайте разберемся, как это работает, – родилась именно тогда, на лекциях по патологической анатомии.

Читал патанатомию профессор Александр Гаврилович Талалаев (полный тезка знаменитого патанатома сороковых годов, странная причуда судьбы – будто Богу не хватило вдруг деталей на сборку или Он просто на долю мгновения зазевался). Лекции были блестящие – аудитория набивалась битком, и Огарев старался присесть на подлокотник к самой красивой девочке. Им места, разумеется, доставались всегда – помните Генри Миллера? – мир справедлив, и красивая женщина редко ложится спать голодной. Талалаев, артистичный, гладкоголовый, сухой, точный в каждом жесте, ходил перед аудиторией – демонстративно без халата, в темном костюме – подражал своему учителю, великому Ипполиту Васильевичу Давыдовскому. Тот, маленький, совершенно лысый, похожий на нетопыря, выходил к потрясенным медицинским эмбрионам в удушливо-черной тройке, вынимал из кармана увесистую золотую луковицу часов, кричал – ну-с, пожалуй, начнем. Был настоящим богом – только с маленькой буквы. Творец второго состава. Демиург. Благостный ангел смерти.

Запомните, коллеги. Нет патологической физиологии. Есть патологические физиологи.

1887 года рождения, Давыдовский не старел и не менялся всю свою жизнь – и множество поколений врачей вспоминали его лекции, как вспоминают оперные представления великих теноров. С замиранием сердца. С ощущением сотворенного при тебе свежего, теплого, только что выпеченного чуда. Выпивал ежедневно пятьдесят грамм чистого спирта и лег на свой же собственный прозекторский стол в 81 год, все таким же – крепким, лысым, коренастым, бессмертным. Вскрытие показало идеальной чистоты сосуда, филигранную работу эволюции, тщету и тлен всего. Академик, герой Социалистического труда, два ордена Ленина, Ленинская премия, ученики, монографии, Новодевичье кладбище, ушастый бюст возле 23-й больницы. Неоценимый вклад.

Вдовцом сильно за шестьдесят поехал с другом на охоту в Рязанскую область – шел солнечной дорогой, хрустел ароматной хвоей, насвистывал, передразнивая щеглов. Отдыхал от смерти. На подходе к селу молодка затягивала подругу на пузатой лошадке – высоко упиралась крепкой, дочерна загорелой ногой. Короткое ситцевое платье, телега с громыхливыми бидонами, золотой пот над верхней губой, припухшей, как у ребенка. Оглянулась, посмотрела весело из-под белого платка. Ветерок рванул ее за подол, словно отдернул покров, скрывающий драгоценность: свежую, теплую кожу, женскую, живую, прохладную, как дремлющее в бидонах гладкое молоко. Она была незагорелая под своим простеньким платьем. Совсем-совсем живая.

Юрий Олеша. Зависть. Радость. Жизнь.

Кровь, уходящая хриплым искусственным руслом.

Давыдовский крякнул. Переглянулся с товарищем, хрустящим от времени, сохлым. Ровесник, невзначай позволивший себе постареть.

Подвести вас, дядечки? Спросила доверчиво. Нараспев.

А, пожалуй, женюсь, невпопад ответил Давыдовский. И женился. И еще двадцать без малого лет, в горе и радости. Внуки от первой жены, нянькающие детей от второй. Осень патриарха.

Огарев вздрагивал, словно проснувшись на рассвете от холодка, пробравшегося под смятую простыню. Красивая девочка, теплая, замершая под самым боком, была забыта – отодвинута на обочину, сброшена со счетов навсегда. Талалаев ходил перед ними – мягко, неторопливо, туда, сюда, подчеркивая каждый поворот быстрым – будто плащом взмахнули – движением мысли. «Не пытайтесь ничего запомнить – все данные все равно безнадежно устареют, когда придет ваше время лечить. Пытайтесь просто понять».

Огарев кивал – да, теперь он понимал. Наконец-то. На любое вмешательство – каким бы оно ни было – человеческий организм давал однозначный ответ. И первостепенная задача врача была этот ответ – увидеть. Мы можем никогда не узнать, что случилось, – но мы всегда увидим этот ответ. Человек отторгает все ненужное – это наш ответ миру, наш единственно возможный с ним диалог. Все, что мы умеем сказать Богу, – это «нет». И если оттолкнуть, отвергнуть не получается – мы пытаемся закапсулировать проблему, изолировать ее, создать вокруг нее непреодолимый для смерти и жизни кокон, тысяча и одна оболочка, рубежи охраны – как в армии, на тропе наряда. «Скорпион», «Радан», ужом и ежом выщаясь по траве колючая проволока, раскинувшее руки тело убитого ребенка.

Человеческое тело распахивалось перед Огаревым, словно анатомический атлас, алый и гладкий внутри, теплый, наконец-то понятный. Все было взаимосвязано и разумно настолько, что ошибиться мог только самый нерадивый, самый заспанный ученик. Давайте вообразим себе гуморальный иммунный ответ... Ой, нет. Красивая студентка, приютившая на подлокотнике Огарева, хлопала ресницами – черными с искусно покрашенными синей тушью кончиками. Хрупкие ключицы под белым халатом, локоны, пахнущие «Прелестью» и горячей плойкой. Иероглиф губ, локтей, колен. Мальвина, играющая со стетоскопом. Выйдет замуж,

нарожает детишек – и, слава богу, так ничего и не поймет. Слишком хорошенькая для страдания. Для сострадания – тем более.

Поэтому давайте вообразим себе что-то более понятное, привычное, простое – например, фурункул. Острое гнойно-некротическое воспаление волосяного мешочка. Среда. Верочка чешет кожу возле ушка – круглого, розового, завитком. Верочке – двадцать пять, у нее две дочки – два с половиной и год два месяца, обычное дело, пока кормила одну, Виталик улучил момент и сделал свое черное дело. Лактация, отсутствие менструации, регулярная и безалаберная половая жизнь. Все прелести счастливого супружества. Верочкин Виталик – офицер, долговязый летеха, нелепый, ласковый, как телок. Коленки вечно красные и сбитые, как у ребенка. Страстный. Верочка всегда мечтала выйти за военного. И на кофте кружева, и на юбке кружева, неужели я не буду офицера жена? Родители были против, отец даже всплакнул – уедешь, оставишь нас с матерью сдыхать в одиночестве! Верочка все равно уехала, конечно. Гарнизон, гарнизон, дочка, еще дочка. Подмосковье! Счастливая!

Вот тут чешется, жалуется Верочка, показывает Виталику – красное и припухшее, возле ушка. Воспалительный процесс еще внутри, но кровообращение уже остановилось. Грозный симптом. Несомненный признак. Первая попытка остановить, отвести руку Бога, всененавидящего, всемогущего. Виталик тянется к жене, послушно целует где зудит – он с юга России, фрикативное «г», смешные усишки. Давай подую на твою ваву. Верочка смеется, ей щекотно, она рыжая, вся-вся, даже там, – медные завитки, яркие веснушки. В багрец и золото одетые леса. На ваве дело не заканчивается, Виталик отправляется дальше, Верочка смеется еще сильнее – ей щекотно, давай, пока дети спят, круглые, смешные, в своих круглых смешных колыбельках. И они – давай, конечно, радостно, задыхаясь, под сурдинку, чтоб не мешать соседям по малосемейке, бог даст, и квартиру отдельную дадут. Хоть бы двушечку! А если совсем повевет, то и трешку.

Среда. Два часа дня. На смену зуду приходит боль – легкая, нудная, глубоко под горячей кожей формируется невидимый инфильтрат, скрытая, неостановимая работа, формирование стержня, кропотливые страшные хлопоты. Верочка прижигает припухлость духами, сладкими, дешевыми, купленными в подземном переходе. Название она может прочитать – Anais Anais, а вот имя фирмы уже нет. Липовый Cacharel только раздражает кожу. Верочка, подумав, решает намазать шишку еще и йодом. Но йода нет. Она трясет темно-коричневую пересохшую бутылочку. Кончился.

Гной. Еще гной. Нет, мы не справляемся. Поздно.

Наутро, в четверг, она встает с безобразно распухшей щекой – и Виталик, подбросив приплод сердобольной соседке, везет Верочку в госпиталь, по дороге оба смеются, у Верочки горячие и потные ладони, она целует его, она целует его. Целует его. И просит непременно принести в палату Анжелику (и короля) и вязание. Заодно и свитер тебе закончу.

В пятницу, оснащенный Анжеликой (и королем), незаконченным свитером (осталась только полочка и один рукав), банкой бульона и твердокаменной симиренкой (Верочка любит кислые и твердые), Виталик прибывает в госпиталь, к Верочке, которая умерла полтора часа назад. Инфекция распространилась по анастомозам в сосудистую систему головного мозга. Врачи разводят руками, никто не мог знать. Виталик воет на весь госпиталь, именно – воет, катятся по твердому полу твердые яблоки, твердеет в морге Верочкина изуродованная голова. Через год Виталик женится, спасая психику, малых своих дочерей, мир во всем мире, жизнь на земле. Верочка станет гумусом, сытным тленом, вырастит из себя траву, станет сероводородом, воздухом, метилом, жирными кислотами, кислыми яблоками, которыми ее девочки будут лакомить своих подрастающих сыновей.

И род человеческий пребудет вовеки.

Нет, вы не поняли, конечно.

Никто не понял, только Господь – увязавший причину и следствие в тонкий и сложный узел симптомов, разгадать который каждому не дано.

А вот Огарев – понял.

Мир был устроен очень просто.

Иммунитет и эволюция работали на сохранение вида, а не индивида.

Это означало, что, если вас невозможно спасти, вас просто убьют.

Надо было просто вовремя заметить первое движение убийцы.

Огареву сразу стало легче. Зубрить больше не приходилось – и учебники из каторги превратились в удовольствие. Из чистого щегольства он начал просматривать сразу по несколько монографий разных авторов, с молодым злорадством примечая, как буксует чужая логика, как маститые умы вступают в противоречие не только друг с другом, но и со здравым смыслом. Грандиозные медицинские авторитеты сталкивались, как бойцовые петухи, и разлетались, оставляя в воздухе обрывки мыслей, мелкие дрызги, вздорные щипаные перья. Предполагалось, что он сможет хоть чему-нибудь научиться у этих, с позволения сказать, светил. Что они все смогут. На самом деле в медицине было ровно столько же домыслов, глупостей и суеверий, что и во времена Асклепия.

Огарев, прежде невидимой надутой тенью обитавший на окраине курса, стал сам вызываться ответить, на демонстрациях больных уверенно высказывал свое мнение, стараясь говорить как можно медленнее и весомей, профессора кивали с ревнивой важностью, из этого угрюмого малого начинал вылупляться неплохой врач, не каждый курс мог похвастаться такой роскошью, далеко не каждый, а вот скажите, уважаемые коллеги, как вы полагаете, в данном случае... Сокурсники испуганно опускали глаза, прятались друг за друга. Огарев – нет. Логика не могла его подвести – и не подводила.

Пиком его карьеры независимого вольнодумца стали инфекционные болезни, сами по себе исключительно интересные. Курс таскали в третью инфекционку, добираться было неудобно, да все было неудобно, к тому же в тот заветный день у Огарева болел зуб, давно уже требующий хорошенькой пломбы, но – дудки, где это видано, чтобы врач пошел лечиться, да еще и вовремя? Это непрофессионально, в конце концов. К тому же все равно мы все умрем.

Группа их маялась у входа, ожидая преподавателя, и Огарев, чувствуя, как крепко стягивает скулу резиновая тугая полоска боли, отчаянно мечтал о том, чтобы наконец выспаться, и еще о том, чтобы Таня Соловейчик подошла, как в прошлый раз, и взяла его под руку, прижавшись сразу маленькой плотной грудью, плечом и коленкой, облитой гладкой, как будто стеклянной лайкрой. Угостишь сигареткой, Огарев? Свои дома забыла. Нет, не подходит. Жаль. Огареву по очереди нравились все хорошенькие девочки на курсе, но всерьез за душу не брал никто. Некогда. Так, молодая пристрелка вхолостую.

Препод прибежал запыхавшийся, встрепанный. Коньяка, что ли, глотнул на пятиминутке? А, нет, оказывается, уникальный случай. Редкая возможность! Никто не хочет посмотреть? Трясет головой, размахивает руками, пузырит в углах некрасивого рта рыжеватой слюной. Конопатый. Сутулый. Сорокапятилетний. Жена, как обычно, не дала. Что он хочет-то? Огарев отщелкнул окурок, мысленно пересчитал оставшиеся сигареты – хватит ли до конца дня? Нет, не хватит. И подобрался поближе. Вот, оказывается, что мы так волнуемся. В третьей инфекционке чумной больной, да-да, именно бубонная, коллеги, характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью. Инкубационный период от пары часов до пары дней, смертность – до 99 процентов. Пухлые нарывы на лимфоузлах, кровь, сочащаяся из всех пор, черные флаги, клювастые мортусы, библейский стон и скрежет зубовный. Гибнущие народы.

Так что же, коллеги? Кто хочет посмотреть?

Группа попятилась разом, переглядываясь. Светить другим – это было еще ничего, но сгорать самому, прямо сейчас, вот в это отчетливое осеннее утро, шелкающее каблукками, солнечное, когда весь лес стоит как бы хрустальный, когда... Как пахнет Москва в сентябре, вы замечали? Как восхитительно пахнет! Я пойду, сказал Огарев просто. На каком этаже? Препоп посмотрел с уважением – как на равного. Хоть бы раз отец на него так посмотрел. Хоть бы раз. Не боитесь, Иван Сергеевич? Нет, ответил Огарев. Не боюсь. Так этаж какой?

Таня Соловейчик подошла-таки, но не прикоснулась, не прижалась, только дернула испуганно за рукав. Словно оттаскивала от зияющего парашюта. Ты совсем дурак, Огарев? Да? Бубонная же! Огарев засмеялся – свободно, весело, это была такая радость, такое удовольствие – думать. Думать и понимать. Если бы в больнице была бубонная чума, Таня, мы бы за три квартала сюда не добрались. Кордоны бы остановили. Пойдемте, Виктор Иванович. Посмотрим. Лимфаденит неспецифической этиологии, я полагаю? Вирусная форма?

Таня смотрела вслед – лайкровые колготки, лайковые грудки, ключицы, красным плащом схваченная талия – все это больше не имело над ним власти. Минус одна. Не та. Снова не та.

Зуб притих пристыженно. Препоп кивал удовлетворенно.

За инфекционные болезни Огареву он поставил отлично. Автоматом.

Но только думать было недостаточно. Нужны были руки, хорошие руки, и самому поставить их было просто невозможно. Разве что на кошках тренироваться, да и то – сотню заму-чаешь, пока научишься хоть чему-нибудь. Огарев это понимал. Потому устроился в детскую больницу – медбратом. Смешное слово. Медсестра в штанах. Усатый нянь. Отделение гематологии, угрожающие кровотечения, маленькие смертники, которые все равно хотели шалить, кошку, лошадку на колесиках от Деда Мороза, железную дорогу ко дню рождения, жить, просто жить. Иногда это срабатывало даже – и родители, торопливо, чуть приседая, уносили чудом вылечившегося ребенка. Даже взрослых вполне, подростков, почему-то волокли на руках, прикрываясь локтем, судорожно оглядываясь, словно следом, подвывая, гнался лесной пожар – нет, нет, милая, не плачь, мы уже за рекой, видишь? Видишь?

Сюда не доберется. Все позади.

Спасены. Спасены...

Огарев легко освоился в отделении, он был рукастый, решительный, не пил, ни с кем (из чистой справедливости) не спал – и потому быстро научился главному в медицине, тому, без чего невозможно работать в принципе. Абстрагироваться.

Катетеризация, венепункция, инъекции, перевязки – практически любая манипуляция причиняла боль. Об этом нельзя было думать ни в коем случае. Сострадание было врагом врача, оно только мешало.

Конечно, все они привязывались к больным. Как было не привязаться? Пятилетний Яшка, курчавый, ясноглазый, сын рецидивиста и любимец всего отделения. Ты как сегодня какал, Яша? Кашицей или колбаской? Улыбался весело – а какал я сегодня говном! Матерщинник был невероятный, изысканный, вдохновенный. Из других детей так сыпались стишки, присказки, припевки. Из Яшки – кудрявая, грязная, страшная матерная ругань. Худенький, веселый смельчак. Лейкоз. Бесконечные капельницы. Крошечные вены. Бровиак-катетер, уставленный прямо в предсердие. Лучше всех ел невкусную больничную кашу, очень старался. Правда очень. Отец приходил к нему каждый день, тощий страшный уголовник с рандолевыми зубами, черт знает какие темные дела были у него на совести, да и была ли сама совесть, но вот же – не садился который год. Ради сына. Ждал, пока вылечится – или умрет. Терпел.

А мама твоя где, Яша? Мама у тебя есть?

А мама у меня шалава!

Каждую фразу начинал с А.

А я. А у меня. А. А. А.

Один раз ночью, на дежурстве Огарева, Яшка вдруг разрыдался отчаянно и никак не мог ни успокоиться, ни объяснить, что к чему, и Огарев долго, час почти, носил его на руках, неожиданно тяжеленького, горячего, неудобного, а Яшка все плакал и плакал, так что халат у Огарева на плече совсем промок от слез, слюны, соплей, черт знает от чего, ну что ты, Яшка, ну что ты? Хочешь, я тебе шприц подарю? А? Ты же хотел шприц. Большой, десятикубовик... Но Яшка не хотел шприц, ничего не хотел и только прижимался к Огареву всем телом, как будто хотел залезть внутрь и спрятаться, и Огарев, мотаясь туда-сюда по коридору, вдруг понял, чего он боится – следом за ними от окна до двери, аккуратно, шаг в шаг за Огаревым, ходила Яшкина смерть, тихая, скучная, неминуемая. Тянулась заглянуть через плечо – прямо в глаза.

И Яшка ее видел. Видел.

А Огарев – нет.

Он тогда отнес Яшку в процедурную, молча набрал в шприц реланиум – вообще-то он не имел права назначать успокоительные, в карте ни слова не было по этому поводу, но плевать, это надо было прекратить немедленно, просто выключить. Выключить, и все. Яшка, увидев шприц, заорал еще сильнее, зашелся почти, рискуя перебудить все отделение, но Огарев уже не видел его, ничего не видел – только верхний наружный квадрант ягодицы, кожу, бугор мышцы и косо срезанное жало иглы, которое следовало ввести под определенным углом.

Нельзя было видеть в пациенте человека. Нельзя было оставаться человеком самому. В момент вмешательства – нельзя.

Яшка поорал еще немного – уже больше от обиды, а потом пару раз всхлипнул, вымастерился, против обычного скучно, бессмысленно, как взрослый. И заснул. И смерть его тоже заснула, наверно. А может, просто ушла. Огарев не знал.

Яшка умер без него. Ночью. В чужое дежурство.

А мама умерла в 1990 году. 19 октября. Одна.

Роняет лес багряный свой убор.

Огарев был на занятиях, на пропедевтике, наслаждался своей новенькой властью над миром. Четвертая Градская. Общий подход к пациенту. Методы диагностики, симптомология и синдромология заболеваний. Палата на восьмерых, свита. Изнывающая от скуки и сердечного томления молодка лет тридцати равнодушно распахнула больничную байку. Пальпация, перкуссия, аускультация. Молочные реки и кисельные берега. Корова, выкормившая Ромула и Рема. Определение верхушечного толчка сердца.

Иван Сергеевич, прошу вас.

Отец торчал на своем заводе – они все туда ходили, как на кладбище, сами не зная зачем, хотя зарплату перестали платить еще весной, а в августе перестали даже обещать. Никому не нужны были больше их чертовы тормоза для ракет. Или что там они еще делали? Скороварки с вертикальным взлетом? Военная тайна! Все обсуждали грядущую приватизацию и то, что жрать нечего совершенно. И если с приватизацией ничего понятно не было, то вот жрать – да, было нечего. Факт. Магазинные полки были уставлены банками с хмели-сунели, черт и знает, когда их успели в таких промышленных масштабах наклепать. Стратегический запас, не иначе. Только приправляй – было бы что.

Как ни странно, отец был не мрачен – хотя следовало бы, напротив – всеобщее уныние как будто придало ему какой-то ненормальной живости. Он вдруг – чего не было годы, годы – начал разговаривать за ужином, строил какие-то нелепые планы по поводу своих никому не нужных патентов, раз рыночную экономику наверху затеяли, значит – заживем, значит, все по-честному теперь будет, по уму наконец-то, а не по потребностям их гребаным. Как-то пришел домой совершенно счастливый и даже попытался в коридоре обнять сына – дыхнув чем-то плохопереваренным, мерзким, спиртным. Огарев шарахнулся, как от чужака, он отвык

от прикосновений отца, они никогда не сулили ничего хорошего. Даже в детстве. Особенно в детстве. Отец не заметил, кажется, пошел дальше, на кухню, по привычке играя плечами, будто молодой. На самом деле таким и был. Сорок три. Всего сорок три. Даже сесть еще не начал. Только бросил свои ежеутренние гири. Может, спина начала болеть. Может, просто устал.

Никому ничего не говорил.

Никогда.

На кухне отец натолкнулся на мать – худую, сутулую, почти лысую – и тотчас сдулся. Принесенная откуда-то радость вышла из него с тонким, почти ощутимым писком – так плачет воздушный шарик, отказываясь умирать.

Напрасно. Все напрасно.

Ничего хорошего нас не ждет. Только не нас.

Итак, оценка верхушечного толчка сердца. Правая рука кладется на область сердца. Большой палец вдоль края грудины. Остальные обращены в сторону аксиллярной области. Молодка была мягкая, теплая и чуть-чуть влажная на ощупь, будто телушка, вернувшаяся домой только ранним-ранним утром, в туман. Прибрела сквозь сонное облако, мычала под окном требовательно и нежно. Хотела дойти – или просто в родной хлев, в уютную, мягкую, навозом нагретую темноту. Огарев осторожно сжал тяжелую грудь, пытаясь обнаружить область наибольшей пульсации, и молодка хихикнула. Щекотно, пожаловалась она. По группе быстро, прячась то за одного, то за другого, пробежал крошечный смущенный смешок. Иван Сергеевич, немедленно призвал к ответу доцент Быков. Не отвлекаемся. Включаем, включаем врача.

Огарев включил. Молодка перестала хихикать.

Мать потерла лоб, висок. Левый глаз распирало изнутри, словно выдавливало наружу. Мигрень. Огненные мушки. Сладковатый запах тушенки, закипающей на сковороде. Великая Китайская стена. Банка такая красная, что больно смотреть. Добавить лучка. Сварить картошки. Не считать, сколько осталось картофелин в ящике на балконе. Тушенки – две банки. Две – очень трудно не посчитать. Она выключила газ, поискала в коробке из-под давно сношенных туфель цитрамон. Пара бумажных конвалюот просроченного олететрина, зеленка, марганцовка, но-шпа, сероватый от пыли бинт. Нищие не болят. Вот Иван выучится, все будет по-другому... Нашла. Размолочила кислотоватую таблетку передними зубами – как кролик. Бабка держала когда-то – смешные, мягкие, носиками все делали вот так. Воняли только сильно. И травы жрали – пропасть, не собираешься. Всех съели, до одного. А шкурки на продажу хотели – да все попортили. Зачервивелись. Жалко.

Мать еще раз проверила газ – боль путала ее, сбивала с привычного, налаженного ритма. Мир отодвинулся настороженно, посматривал одним глазом – словно городской зябкий голубь. Не доверял. Горячая вода, вот что нужно. Почти кипяток. Потом замотать полотенцем покрепче и поспать, если выйдет, пару часиков. А потом и ребята вернуться.

Иван и Сереженька. Сначала один, потом другой. Сын и муж.

Нет, муж и сын, поправились она, расставляя приоритеты в правильном, честном порядке – словно счастливых слоников на комод. Сколько слоников, столько и счастья. Неправда! У нас все хорошо. Все хорошо. Голова только болит. Таблетку надо выпить. Она с трудом, давясь, сгрызла еще один цитрамон, совершенно забыв про первый. Память уже отказывала ей, отказывалась от нее. Сережа, господи. Сереженька!

Надо вымыть голову. Вымыть голову. Вымыть голову. Просто вымыть.

Огарев пошел по четвертому ребру, тихо, едва касаясь, выстукивая собственный палец. Он весь превратился в этот самый палец-плессиметр, словно спасатель, замерший над руинами, поглотившими целый детский сад. Давайте, поплачьте еще, хоть попищите, милые. Я услышу. Спитак. 1988 год. Обрушившийся подвал, мать, кормившая девочку собственной кро-

вью. Две недели под завалами. Библейский стон и скрежет зубовный. Плачущий Рыжков. Как все поразились тогда! Вся страна! Никто и поверить не мог, что председатель Совмина окажется живым человеком. Никто и поверить не мог, что когда-нибудь и это пройдет.

Звук стал тупым – Огарев отметил место зеленой, он больше не видел ни молодки, ни ее наливного вымени. Нет, глупости, ерунда, при чем тут Спитак? Перкуссия – веселая манипуляция, украденная у виноделов. Плессиметр – костяная звонкая пластинка, можно и медную, главное, чтобы пела. Кудрявые красно-лаковые греки прикладывали плессиметр к громадным и тоже красно-лаковым амфорам, нет, снова вру – не было у греков никакого плессиметра, его придумали в Европе средневековые бондари и виноделы, пузатые хохотуны, мастера могущественных гильдий. Прикладываем пластинку, тюкаем по ней молоточком – поет. Тюкаем еще раз – звук глухой, тупой, значит, есть еще вино, стоит, по пояс наполнив знатную сорокаведерную бочку.

Сказки Гофмана. Правила виноделов.

«В норме верхушечный толчок расположен на уровне V межреберья на 1–2 см кнутри от левой срединноключичной линии», – тихо подсказал вызубренный наизусть учебник. Кнутри! Шершавые, нелепые термины из руководства по эксплуатации человека. Молодка не была в норме, ее верхушечный толчок обнаружился слева от искомой линии. Грудная клетка при пальпации дрожала отнюдь не от страсти. Симптом «кошачьего мурлыканья». Умиряющая киска. Гипертрофия правого желудочка, порок сердца, тихо присудил Огарев, и доцент Быков одобрительно кивнул.

Горячая вода, слава богу, была – возню с ведрами кипятка мать бы не выдержала точно, обварилась бы, опрокинула все на пузо. А ведь когда-то полную выварку на плиту поднимала: пузырящееся медленно белье, серая накипь, упругий нажим больших деревянных щипцов. Блеск и торжество советского быта. Белье кипятим! Двор, раздувший ослепительные постельные паруса. Сережа любит, чтобы белоснежное.

Мать пустила струю покрепче – пересохшие прокладки, забившиеся дырочки в лейке для душа, целительный массаж ржавой живой водой. Висок, глазница, затылок, лоб. Снова – висок. Досчитать до ста. Скоро начнет действовать цитрамон. Почистить картошку. Порезать лук. Выключить газ. А там и Сережа придет. И Ваня. Иван. Боль, обгоняя кипяток, стискивала голову матери, разливалась, вспыхивало все вокруг черным и красным, черным и красным, потом черного стало больше, так много, что мать выбиралась из скользкой ванны уже на ощупь и все хотела нашарить халат или хотя бы полотенце, но поняла, что не нашарит, – это было последнее, что она вообще поняла. В комнату ползла, оставляя мокрый длинный след, уже не мать, не человек даже, просто все еще живое существо, почти оставленная Богом протоплазма, надоевшая пластилиновая игрушка, локтем сброшенная с поделочного стола. Аневризма, тихая, страшная ягода, невидимый пузырек, присосавшийся к сосуду, наконец-то лопнула. Мозг заливало тяжелой черной кровью, закупоривались по одному сосуды, захлопывались дверцы, суетливая возня, паника, разбегающаяся в разные стороны обезумевшая жизнь.

Мать ползла в сторону прихожей – встречать своих. Она ни о чем не думала больше, ничего не хотела. Ей даже не было больно. И последней картинкой, которую показал ей Господь на прощание, была Великая Китайская стена, не тушеночная, а настоящая, нескончаемая древняя нить, видимая даже с орбиты.

Рукотворная аорта планеты. Отличная работа, дети. Но не надо было все-таки так наглеть.

С орбиты уже мать оглянулась еще раз, но ничего не увидела.

Поздно.

Огарев, переполняемый гордостью, потыкал в звонок условным сигналом, подождал – и открыл дверь своим ключом. Граница абсолютной тупости сердца! Это он тоже определил.

Золотые руки, сказал доцент Быков. Ну ладно, не сказал. Но подумал уж точно. Золотые руки. И уши. И глаза. И конечно же, голова. Пожрать бы еще – и поспать перед дежурством часа четыре.

Голая мать лежала на полу – совершенно голая, и это было так страшно, что Огарев зажмурился и отшатнулся. Он не зажмуривался никогда, даже на травме, даже когда привезли подростка, упавшего в шахту лифта, – суповой набор, больше пятидесяти переломов, кости, белые, острые, торчали из него, как из подушечки для булавок, а там, где не торчали, все было жидкое, просто жидкое, и только похрустывали в этом жидком невидимые обломки. Он был в коме почти, но из этой комы, с самого ее дна, стонал низким, жутким голосом, как будто больно было не только ему, но и еще кому-то страшному, огромному вроде полураздавленного, издыхающего звероящера.

Травма, достигшая дна эволюции.

Огарев не отвернулся даже тогда. Действовал быстро, четко, аккуратно. Тихо гордился тем, как просто и быстро выключил в себе человека. Все, кроме головы.

Просто не знал еще, что это такое – увидеть голую мать.

Он должен был броситься к ней. Должен был. Он умел. Знал, как это делается. Скоропомощная уже была у него в крови. Два пальца на сонную артерию, зрачки на свет, понюхать – нет ли ацетона. Огарев смотрел, как все это проделывает врач «скорой помощи», которую вызвала, кажется, соседка. Сам он не сумел даже прикрыть мать халатом. Хоть чем-нибудь. Так и сидел на корточках в прихожей, вжавшись в угол, став им.

Какой курс? – спросил врач бегло, видно, что-то такое наплела ему соседка, страшно гордая тем, что на лестничной клетке появился собственный медик. Огарев как-то прижег ей фурункул на заднице. Совершенно неинтересный. Задница, впрочем, тоже. Третий, сказал Огарев. И врач посмотрел без уважения. Да, студент третьего курса второго меда должен бы уже научиться отличать мертвых от живых. Хорошенькая смена растет.

Труповозку вызывайте, услышал Огарев, – и это тоже было про маму.

Отец пришел только утром. Не явился ночевать.

Абсолютная тупость сердца.

Огарев опомнился только на похоронах – вдруг обнаружил себя на неудобной тропинке между двумя могилами. Одна нога на утоптанной скользкой глине, другая грозит невзначай наступить на чью-то бывшую жизнь. Неразличимая муть последних трех дней сгустилась наконец и оказалась обычным московским дождичком, серым, блеклым, до отказа заполнившим тоже серый и блеклый воздух. Прохладная невидимая влага стояла стеной – и вдохнуть полной грудью значило просто захлебнуться.

Маму уже закопали.

Может, она не хотела в глубокую узкую яму, прошитую белесыми корнями по краям и насквозь. Может, предпочла бы воде и земле – огонь. Ее не спросили. Огарева – тем более. Всем распорядилась какая-то женщина, невысокая, полная, миловидная. На пухлом, как у ребенка, запястье – часики, врезались неудобно. Забрызганные грязью колготки. Испачканные могильной глиной каблук. Должно быть, почтальонка, с маминой работы.

Народу было немного – все больше женщины, как раз с почты. Некоторых Огарев помнил с детства, он любил ходить к маме на работу. А кто не любил? На почте можно было возиться с бумажным шпагатом, который жил в круглых, толстых мотках (осторожно, запутаешь – маму сразу уволят!), и необыкновенно вкусно, вкуснее, чем печеньем, пахло сургучом. Обычная консервная банка (из-под дефицитного зеленого горошка), часами томящаяся на электрической плитке. Гладкая коричневая масса – словно какао, нет, как жидкий невиданный шоколад. Спелые, тоже гладкие, пузыри. Капнешь на руку – прожжешь до кости.

В полуподвальной комнатке колодезной почти глубины, где почтальонки лакомились своим бесконечным чаем, каким-то чудесным образом все время обитало солнце. Даже осенью. Даже когда пасмурно. Даже зимой. Солнце стояло в самом центре пыльным радостным столбом, как послушный воспитанный ребенок, грело почтальонкам щеки и руки, подпыхивало пустую болтовню. Неоплатный подарок, в чистом виде милость Господня, тихая компенсация за жалкое жалованье, скудные судьбы, скукоженную жизнь. Никто не заметил, никто не поблагодарил. Нет, никто.

В углу громоздились посылочные ящики, бесконечные, многоцветные, со слоящимися крышками. Тысячу раз написанные и стертые адреса. Некоторые ящики были в темных пятнах от яблок, персиков, груш. Каждый фрукт завернут в «Правду» или «Известия». Каждый проехал из края в край огромную страну. Грецкие орехи, мед. Шерстяные носочки для Валечки. Печенье овсяное. Для мамы кладем кило грильяжа и коробку «Птичьего молока». Еле достали!

Мама умерла.

Огарев ладонью снял с плеча легкую влагу – как будто смахнул слезы.

Умерла.

Отец стоял в стороне. Рядом с ним переминалась с одной голенастой лапы на другую девчонка лет двенадцати, тоже Огареву не знакомая. Девчонка была худая, как и положено подростку, нелепая, но сквозь нескладно, не по размеру еще выросшую плоть уже проступало будущее – скулы, ресницы, судьба, смутно напоминающая что-то (кого-то?) гнедая крылатая прядь над высоким лбом. Миловидная полная женщина, самовластная распорядительница похорон, подошла к отцу и, быстро жестикулируя, стала объяснять что-то. Он кивал, соглашаясь, и девчонка, подобравшись поближе, тоже кивала, полуоткрыв круглый детский рот. И когда отец, словно сам не заметив, положил руку ей на плечо и мимоходом ласково притянул к себе, Огарев вдруг понял, что они, трое, вместе. Давно. Очень давно. Может быть, даже всегда.

Девчонка привалилась к отцу, как жеребенок, доверчиво, всем длинным телом, и он, не глядя, не замечая, заботливо поправил шарф у нее на шее, сиреневый, домашней дырчатой вязки. Зябко, продует еще, не дай бог. Мама не умела вязать. Вязать, шить, готовить, жить. Ничего не умела. Огарев попытался вспомнить, когда отец в последний раз поправлял на нем шарф – нет, не шарф. Зоопарк. Клетки. Шарик. Вольеры. Пять лет. Огарев погнался за ленивыми московскими голубями, упал, неловкий, маленький, – как умеют падать только дети. Всем махом. Он и заорать даже не успел, не то что испугаться, как его подхватили сильные руки. Перевернули, поставили как надо. На путь истинный. Отряхнули асфальтовую крошку со ссаженных колен. Отец. Не отец еще тогда – папа. Двадцатисемилетний, красивый, как на плакате про строителей коммунизма. Плечистый. Добрый. Молодой. Ну чего же ты, сказал, и вот так же, как эту девчонку, ласково притянул к себе на мгновение. Пошли-ка лучше мартышек смотреть. Давай я на плечи тебя посажу.

И Огарев поплыл над толпой, высоко-высоко – торжественный, важный. Счастливый советский мальчик с ободранными коленками. Пыльные сандалики, смешной чубчик на лысой голове, светлое будущее. Мама семенила рядом, задирала голову, улыбаясь. Потом они купили мороженого в кафе – две вазочки, в каждой – три шарика. Огареву досталось по одному – ложечкой, аккуратно, чтоб не простыл! – шарик от мамы и шарик от папы. Шоколадное и крем-брюле. Плюс стакан газировки.

Последний счастливый день, который он запомнил. Последний, который был у них – на троих. Потом стало хуже, еще хуже и совсем плохо. Отец сперва отдалился, как звезда, потом звезда оказалась злой, прошла все мучительные этапы спектральной эволюции – от синего гиганта до белого карлика и дальше – до черной дыры, до абсолютного ничто. Только это ничто не втягивало в себя все живое, а наоборот – отталкивало, отталкивало от себя, так что Огарев и мама отлетали все дальше, пока не пересекли горизонт событий, за которым черная дыра перестает быть видимой, за которым – просто свет, чужой, искривленный, холодный, летящий

из ниоткуда в никуда. Именно тогда появилась, должно быть, эта, полная, миловидная, и отец их просто разлюбил – его и маму. Может, были и другие женщины, Огарев не знал, не хотел знать. Даже думать об этом не хотел. Но последнюю точку поставила эта девчонка. Именно она окончательно вытеснила его с орбиты. Отобрала все. Молчание, презрение, ярость, злость, одиночество. Где папа? Он сегодня ночевать не придет. И еще не придет. И завтра тоже.

Оказывается, он просто полюбил другую женщину. Не маму. Родил другого ребенка. Не Огарева. Девочку. Дочку. Огарев был больше не в счет.

Отец поймал его взгляд, словно почувствовал. Отстранил дочь, пошел, перешагивая могилы, огибая оградки, венки. Женщина и девочка поспешили за ним, как привязанные. Словно воздушные шарик на невидимых нитках. Девочка споткнулась. Чуть не упала. Неловкая. Огарев все стоял, хотя, конечно, следовало развернуться, уйти, не ждать хрестоматийного «ну, Лексей, ты – не медаль; на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди».

Познакомься, сын. Сказал тяжело, густо. Сыыыын.

Это Валентина Николаевна. Можно – тетя Валя. А это...

Огарев мотнул головой, как от оплеухи.

Развернулся, пошел, потом не выдержал, почти побежал.

Похоронный автобус стоял, приветливо распахнув двери. Поминки-то дома будут, Ванечка? – проорала вслед, высунувшись из автобуса, какая-то баба, полная, щиколотки наплыли на туфли, щеки – на грудь, венозная сетка, краснота (повышенное АД, гипертоническая болезнь второй степени, риск 4). Огарев не ответил. Метро быстрее.

Он побросал не глядя барахло в сумку, с которой вернулся из армии. С которой вернулся. Ключ, привычный с детства, когда-то – на шнурке, грел пузо, перекручивался, как нательный крестик. Теперь – на колечке с брелком. Олимпийский мишка. Мама подарила. До свиданья, до новых встреч.

Огарев снял мишку, сунул в карман.

Дверь хлопнула.

Потом еще одна – подъездная.

Глава 3

Она была не то чтобы неприятная. Узкое треугольное личико, темные длинные волосы – прямая челка, прямые брови, прямой нос. Взгляд, наоборот, – ускользающий, куда-то все время в сторону, исподтишка. Нет, все-таки неприятная – высматривает, как птица, куда бы клюнуть. Маленький рот, круглые карие глаза. Доброжелательный зритель сказал бы – какое иконописное лицо. Огарев не был доброжелательным. Птица. Как есть птица.

Она еще несколько секунд рассматривала его под каким-то одной ей ведомым, немислимым углом, а потом вдруг улыбнулась.

Здравствуйте. Чем могу помочь?

И как будто морок рассеялся – обыкновенная молодая женщина, секретарша (новомодного слова «ресепшионистка» Огарев не выносил – тьфу, дрянь, как будто полный рот шерсти набили, честное слово). Немного усталая – а кто не устанет от такой сволочной работы? – но вполне милая. Сине-белый костюм, дикая помесь матроски и медсестринской робы, очевидно – высокий замысел местного начальства, призванный формировать корпоративную культуру. Пальцы сжимают ручку – ни намек на лак, ногти короткие, даже не как у ребенка – как у хирурга.

Еще раз улыбается – так я могу вам помочь? – и Огарев чувствует легкий, слабый пока укол вины. Кто знает, как и за что их тут дрючат и жучат, этих бедных девочек на все. Ни ремесла, ни воли, ни мозгов – только миловидная внешность, только судорожная готовность услужить. Расходный материал. Наживка для клиентов. Передовая линия рабства. Если клиент нахамит, ее накажут. Если останется доволен – заслугу припишут другим. Проигрыш в ста случаях из ста. Огарев все еще чувствует себя виноватым – и все еще не осознает, как это скверно. Очень скверно.

Я к Шустеру, говорит он, стараясь быть приветливым и любезным. Это все, что он может сделать для этой бедняги, другие не расщедриваются и на такую малость. У нас встреча в десять часов. Секретарша заглядывает в монитор и – для верности – в записную книжку. Дитя бумажных блокнотов, шариковых ручек и телефонных номеров, выученных наизусть. Ровесница. Плюс-минус. Скорее минус, чем плюс.

Так вы врач?! На собеседование?

Она радуется так, что на мгновение становится не миловидной, а красивой. По-настоящему красивой. Огарев – единственный и последний раз – видит ее всю, целиком. Такой, какой ее задумал Творец. Высокая шея, легкие ключицы в синем треугольнике выреза. Темные гладкие волосы, темные гладкие глаза – яркие, с переливом, как будто катаешь на ладони спелый, свежесвылупившийся каштан. Прохладный. Смотрит с таким восхищением, будто Огарев победил смерть. Это как минимум. Еще один тревожный симптом. Огарев невольно оборачивается, чувствуя себя самозванцем. Но за спиной – никакого святого воинства, только входная дверь. Светлый шпон. Медная фурнитура. Какая-то странная гроздь трубок и колокольцев, немелодично извещающих о прибытии очередного страждущего.

Ответить Огарев не успевает – из коридора клиники выкатывается Шустер, все такой же круглый, веселый и наглый, как в институте. Ой, шарик-фонарь. Фонарик-кубарь. Хорошая это луна. В институте говорили – Шустрик. Специализировался по кардиохирургии – золотой скальпель. Вполне в драгоценнометаллическом смысле – золотой. В отделении, к которому Шустрик прибил, мзду за операции брали просто чудовищную. Но зато и лечили, пижоны, по высшему разряду. Заведующий их был настоящий гад – умный, вдумчивый, принципиальный. Мерзавец по призванию и велению души. Но техника, господи... Какая техника! Надевал две пары хирургических перчаток, взмахивал скальпелем – внимание, показываю на себе. И одна пара падала, рассеченная с микронной точностью. Даже опытные врачи отворачивались,

воображая, как безупречная сталь раскраивает кожу, мышцы, сухожилия – искаленные руки хирурга, которые потом ни шить, ни собрать ни за что. Но вторая пара оставалась целой – завсися страшными веселыми глазами над маской, приподнимал спасенные кисти, белесоватые, силиконовые, приподнятые к небу характерным жестом хирурга.

Или жреца.

Всевышний Боже, перед началом своей святой работы по излечению творений рук Твоих я возношу мольбу к Трону Славы Твоей и прошу дать мне силу духа и неутомимость выполнять мою работу в вере и чтобы стремление к богатству или к славе не лишило мои глаза способности видеть истину.

Из ежедневной молитвы Маймонида.

И еще вот так.

Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими.

Библия. Сирах. Глава 38.

Но еще лучше так.

Вот я, Господь, стою перед тобой и смеюсь. И руки мои стерильны, а сердце – свободно от страха и сострадания. Если не хочешь помочь, пожалуйста – просто не мешай.

Огарев. Доктор Огарев. 30 лет.

Огарев не мог так располосовать перчатки. Боялся. А Шустрик не боялся и потому – мог. Правда, оба они умели зашить все те же хирургические перчатки так, чтобы шов не пропускал потом воду – еще один старый трюк, почти цирковой. Только для своих. Несколько небрежных щелчков ножницами, несколько минут кропотливой работы зажимом и иглодержателем, хромированный кетгут, аподактильный узел, по-школярски высунутый от усердия язык. Неплохо, но... Увы, коллега. Кардиохирургия – не ваша стезя. Огарев сглотнул, отвернулся. Снова не лучше всех. Всего-навсего человек. Просто человек. А вот Шустрика в этот стан небожителей взяли, и он пропал со всех радаров, надолго, хотя времена были такие, что они особо и следить друг за другом не успевали. Все меньше смысла было в научных публикациях, мест – в отделениях, нулей – в зарплатных ведомостях, хотя нет, нули как раз множились, цены росли, инфляция, дефляция, деноминация. Государство играло в скверную игру, словно пробуя их всех на прочность. Словно передразнивая. Не понимаете ни слова? Не знаете, что делать? Все равно больно? И так? Ах, так еще больней. Ну, утешьтесь диагнозом, списком колючих терминов, в котором не понимаете ни буквы, да горстью разноцветных пилюль – мел, желатин, сода, немножечко веры. Полгранулы. На самом кончике ножа. А я умываю руки.

Это было обидно.

Они не заслужили, честно. Никто не заслужил.

Все больше народу уходило из медицины. Просто на прокорм. В медрепы. В охранники. На паперть. Кто куда. Огарев, помыкавшись, тоже попробовал себя на поприще медицинского представителя, но медреп из него вышел скверный. Английского он не знал, служить был не рад, прислуживался – тошно. Проникать в щели и впаривать своим же всякий фармацевтический вздор было так же неприятно, как присаживаться в палате к больному, чтобы договориться насчет левака в карман за внеплановую операцию. Или за плановую. Не все ли равно?

Огарев вернулся в больницу, взял ставку в поликлинике и решил потерпеть еще год. Задержать дыхание и мысленно досчитать до двенадцати, так сказать. И уйти из медицины. Совсем. Хватит. Довольно. За это, гражданин начальник, я уже отсидел.

На одиннадцатой минуте, в ноябре, он встретил Шустрика.

Огарев плелся по переходу, жуя, как булгаковский Бегемот (Помните? «Машину зря гоняет казенную», – наябедничал и кот, жуя гриб), только не гриб, а какое-то жалкое подража-

ние хот-догу. Булка по вкусу не отличалась от сосиски, так что можно было считать, что Огарев ест кетчуп с горчицей. Нищенское пиршество. Стюдию на копейку. Прощай, желудок. Здравствуй, гастрит. Кто-то хлопнул его сзади по спине – саданул даже, так что Огарев поперхнулся и споткнулся разом. Ослепший на мгновение, согнутый пополам, он мысленно прикидывал уже, как с разворота и снизу ногой, да что это за сволочь такая, я, блин, не для того в армии, как из грязного подземного тумана выплыла ликующая круглая рожа Шустрика. Сергеич! – заорал он радостно, Сергеич, а я иду и думаю – ты или не ты? А это – ты!

Огарев перевел наконец дух и распрямился. Кетчуп с горчицей перекочевали из хот-дога на джинсы – и без того грязные, захлестанные выше колен. Правый ботинок продрался, и Огарев оборачивал ногу целлофановым пакетом поверх носка. Про куртку, пожалуй, умолчим. Да, умолчим. Это был он, совершенно точно он. Огарев. Кто бы спорил. В лучшие свои годы. В полном расцвете сил.

Ты озверел, Олегыч, сказал он без всякой радости. Вместо приветствия. Дурацкая привычка обращаться друг другу по отчеству. Институтская еще. Шустер был Олег Олегович. Олегыч. Как магарыч. Или спотыкач. Ему даже шло.

Шустрик сиял – круглый, вызывающе радостный, в вызывающе светлом кашемировом пальто, которое в грязном подземном переходе выглядело нелепым, точно ненастоящим. О, эти шелковые кашне и остроносые туфли конца девяностых! Ты что тут делаешь? – угрюмо спросил Огарев. «Мерседес» в ремонте? Шустрик даже подпрыгнул от восторга – рыжеватый, пухлый, смешной. А ты как догадался? Только вчера на сервис отогнал. Это анекдот такой, Шустрик, – Огареву вдруг стало скучно. Смешной анекдот, кстати. Только его уже все знают. Даже малолетние дурочки, на которых теоретически он должен производить неизгладимое впечатление.

Какой анекдот? Чистая правда! Представляешь, какой-то болван гвоздем мне крыло продрал. Сказали, раньше, чем через две недели, не сделают. Краска особая, крутая. В Германии заказывать надо. Люцифер называется. Металлик. Красная такая.

На пожарной машине, значит, катаешься? Уважаю.

Почему на пожарной?! – снова удивился Шустрик, и вдруг понял – ну наконец-то! – и стал вкусно хохотать, утирая крупные слезы и даже ухаю, у него было забавное чувство юмора, с задержкой, как у гранаты. Выдернули чеку, сказали – тридцать два, тридцать три. И только тогда жажнуло. На пожарной! – причитал он, хватая Огарева то за рукав, то за плечо. Ох, не могу! На пожарной! И Огарев не выдержал, тоже заржал, как мальчишка, как в институте, они не дружили с Шустриком, нет, но они были родные, свои, и от этого было тепло. Удивительно теплое чувство. Стоять вот так с товарищем в подземном переходе – среди ларечников и побирушек – и помирать со смеху.

Товарищ. Шустрик был его товарищ. Других товарищей у него не было.

Шустрик замолчал так же внезапно, как взорвался. Будто выключился. Осмотрел Огарева – словно взвесил с аптекарской точностью. Ты же одним из первых на курсе закончил, сказал с упреком. Огарев поморщился, но не стал ничего говорить. Скучно. Тепло мгновенно выдуло, между ним и Шустриком снова лежал затоптанный переход. Препятствие непреодолимой силы. Карман кашемирового пальто Шустрика, даже оторванный, стоил больше, чем вся огаревская жизнь. Шустрик все смотрел, только теперь внутрь себя. Перекладывал какие-то карточки с одной невидимой полки на другую. Огарев бы врезал ему, но – зачем? Что это изменит? Шустрик всегда был трусливый, толстый, услужливый. Слишком трусливый. Слишком толстый. Слишком услужливый. Иудейство самого скверного пошиба, некрасивое, густое, перло из него, как рвота. Но врач он был великолепный. Это Огарев знал. Сам видел. Он бы не хотел ударить такого врача. Нет. Не так. Не смог бы ударить.

Ты же терапевт, да?

Шустрик подбил наконец мысленный баланс. Огарев кивнул. Перекособочившись, Шустрик добыл из кармана бумажник, просторный, многокомнатный. Даже с пристройкой для невиданных Огаревым (по крайней мере вблизи) кредиток. Блеснуло золотым, черно-серым, важным. На, – он сунул Огареву визитку. Завтра в десять приходи. Только не опаздывай, у меня в одиннадцать правление.

Он пожал Огареву руку и поспешил по переходу дальше, перед ним расступались, автоматически, сами того не замечая. Шустрик был чистый, сытый, спокойный. Богатый. Невидимый кокон благополучия охранял его не хуже бронезилета. Огарев повертел в пальцах картонку. Клиника доктора Шустера. Адрес. Телефон. От карточки тоже веяло спокойствием, силой, уверенностью в себе. Клиника доктора Шустера. Вот оно, значит, как. А ведь какой мог стать хирург. Огарев напрасно искал глазами урну – и бросил визитку на хлюпающий пол.

Ни за что в жизни, пообещал он себе клятвенно. Никогда. Лучше барахлом китайским торговать. Или побираться.

На следующее утро без пяти десять он уже стоял возле нужных дверей.

Половина небольшого особняка. Не совсем в центре, но и не глухие задворки. От метро три шага, от шоссе – две сотни метров. Табличка скромная, но буквы – золотые. Огарев повернул ручку. Колокольчик звякнул, отсчитывая первые секунды новой жизни.

Со стойки регистрации на него внимательно, чуть наклонив голову, смотрела женщина. Молодая. Узкое треугольное личико, темные длинные волосы – прямая челка, прямые брови. Не то чтобы неприятная. Хотя нет. Неприятная.

Здравствуйте. Чем могу помочь?

На работу Огарев вышел через неделю. Через три месяца Шустер уже заказывал в коридор дополнительные кушетки для пациентов (повышенной упругости! мы заботимся о наших клиентах!) и при виде Огарева сотворял, как булгаковский Шарик, что-то вроде намаза. Огарев оказался рожден для частной медицины. Просто рожден. Когда вся гнетущая неловкость, связанная с деньгами, услугами, разговорами об услугах и деньгах, легла на чужие плечи, Огарев вдруг понял, что единственное, что от него требуется теперь, – это лечить. Просто лечить. Хорошо.

И он начал лечить.

А еще через несколько месяцев Огарев женился. На той, то красивой, то неприятной, с прямой челкой и ускользящим взглядом. Это наша Пospelова, Иван Сергеевич. Знакомьтесь. Пospelова, это наш новый доктор, терапевт.

Я знаю, сказала медленно. Вы Огарев Иван Сергеевич.

И встала навтыжку, как перед генералом.

Никакая не наша Пospelова, конечно.

Сама решила, что станет его женой. И стала.

Это было как тонуть. Нет. Как медленное удушье. Глоток цианида. Блокировка клеточного дыхания. Клеточная гипоксия. Хватаешь воздух разъявленным ртом, хрипишь – но все напрасно. Кислород все так же свободно вливается в легкие, небо все такое же – высокое, голубое, все так же впитывают деревья живительный углекислый газ. Но цианиды уже связываются с трехвалентным железом, намертво блокируя цитохромы, – красивая, смертельно красивая комбинация, когда ты еще дышишь, но на самом деле уже мертв. Кислород поступает в кровь, но не усваивается. Венозная кровь превращается в артериальную. Обе больше не имеют ни малейшего смысла.

Она не оставляла его в покое. Просто не оставляла.

Анна Пospelова.

В клинике говорили – наша Пospelова и относились не с уважением даже – с уважительным холодком, которого обычно не достаиваются люди элементарных профессий. Шустрик

даже должность ей придумал специальную – специалист по приему пациентов. Оператор по уборке и чистоте, черт возьми. Она была самая обычная секретарша. Что тут еще сочинять? Двадцать восемь лет. Не толстая и не худая. Ни образования, ни связей. Ничего. Пустое место. Молчит, смотрит, изредка улыбается.

Поначалу Огарев решил, что Шустрик с ней просто спит, но – нет. Шустрик, как быстро выяснилось, был лакомка – и питал слабость к девушкам невиданно редким, как белые единороги. Чтоб рост, значит, от метр восемьдесят, ноги – от ушей, а сиськи – минимум шестой размер. И модельная внешность. Здравый смысл и медицинское образование подсказывали, что это невозможно. Пятьдесят кило на без малого два метра роста – это не астения даже, Олегыч, втолковывал Огарев насмешливо. Это дистрофия. А сиськи шестого размера – это жир. Много жира. Очень. Плюс пара молочных желез. Жир не может взять и весь собраться в одном месте. Включи голову. Ты же врач.

Иди ты, буркал Шустрик, сам знаю. А душа все равно просит. И не кури у меня в кабинете, зараза!

Значит, это теперь называется душа? – Огарев откровенно ржал, демонстративно прикуривая следующую сигарету, вкусную, дорогую. Знаете, с чего начинается достаток? С того, что ты перестаешь считать деньги на курево. Потом – на еду. Про следующее потом Огарев пока не знал, но верил, что и ступенькой выше окажется что-то хорошее. Например – чем черт не шутит? – на машину можно будет накопить. Он освоился (и обнаглел) стремительно – и так же стремительно продолжал наглеть. Шустрик злился, обижался, из последних сил обороняя свой авторитет, но все было напрасно. Шустрик-хирург вызывал у Огарева безусловное уважение, но это осталось в прошлом. Шустрик-главврач и владелец собственной клиники – это было смешно. Смешно и глупо, как пудель в деловом костюме, скачущий на задних лапах. Нет, пудель – это грустно, Шустрик. Пуделя жалко. А тебя – нет. Какого черта я должен слушаться человека, который сам себя превратил в шарлатана?

Почему – в шарлатана?! Шустрик обижался еще больше, как маленький – отворачивался, жевал трясущиеся толстые губы. Иглорефлексотерапия – это вполне научный метод... Апробированный... На идиотах, подсказывал Огарев и, завывая, цитировал: а есть еще точка тай-чун – точка ножного цзюэ-инь канала печени. Воздействие на нее лечит ветер в печени, приводит к гармонии кровь, питает кровь, нормализует циркуляцию ци, а также изгоняет все виды ветра. Самому-то не стыдно?

Нет, не стыдно! Представь себе! Я ездил в Китай! То есть в Тибет! Я учился!

Лучше бы кроссовок вагон там купил. Или тушенки. Ты же врач, Олегыч. Хирург! Смотреть же невозможно, как ты без ремесла маешься!

Я не маюсь! У меня пациенты! Очередь! – Шустрик взрывался, совсем уже жалко, некрасиво, как взрываются только очень слабые, интеллигентные, незаслуженно обиженные люди. В «Макдоналдс» – тоже очередь. Все, пойду – меня настоящие пациенты ждут. Без ветра в селезенке. Огарев вставал, победительно потягиваясь, – безжалостный, неблагодарный. Шустрик провожал его собачьим взглядом – битым, голодным, больным. Первое время, чтоб не рехнуться, он еще вязал хирургические узлы – левой рукой, вслепую, в закрытом ящичке стола. Потом перестал. Перестал.

У него была клиника, в конце концов. Красный «мерседес». Геморрой. Девки с тугими силиконовыми сиськами. И Риточка, конечно. Ритуля. Законная супруга и два сынишки. Борис Олегович и Глеб Олегович Шустеры – жалкая попытка прикрыть великокняжеским бархатом никчемную, ни в чем не виноватую суть. Все равно будут бить не по паспорту, а по морде. Но чего не сделаешь ради детей? Ради детей...

С Поспеловой он не спал, разумеется. С ней никто вообще не спал.

В клинике ее откровенно побаивались. Невидимая стена опасливого отчуждения. Вон ту прозрачную, но прочную плеву не прободать крылом остроугольным, не выпорхнуть туда, за

синеву, ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным. Огарев отлично помнил, что это такое. Армия, отвернувшийся Станкус, ротный, наоборот, не рискнувший повернуться спиной. Страх. Одиночество. Недоумение.

Что-то она такое знала про людей, эта секретарша. Что-то понимала про них – больше, чем другие. Злая волшебница – но в завязке.

Огарев столкнулся с феноменом Пospelовой почти сразу – вышел из кабинета покурить и обнаружил у стойки трогательнейшего старичка, аккуратного, как гном. Умильная розоватая плешь, аккуратная палочка, очки как из гениального фильма с Нуаре – в золотой оправе. От него веяло старорежимным уютом, хорошей библиотекой, которую пращурсы начали бережно собирать еще в XIX веке, двумя высшими образованиями, честной старостью, изо всех сил пытавшейся сохранить достоинство. Беспартийный, милый, больной. Откровенно больной. Старичок руладно сморкался в большой носовой платок, белейший, тоже старомодный, умильный, и требовал от Пospelовой записать его к лучшему доктору. Имейте же сострадание, милочка, вы что, не видите – у бeня дасморг. Кондуит и Швамбрания. Несуществующий дедушка. Прошедшее детство.

Пospelова, наклонив голову, смотрела куда-то в сторону и тихим, безжалостным голосом, совсем без интонаций, втолковывала, что все доктора, к сожалению, в настоящий момент заняты, запись закрыта на два месяца вперед. Ничего человеческого не было в ее голосе. То есть вообще – ничего. Будто она вдруг решила пообщаться с пылесосом. Сама при этом будучи бетономешалкой. Или еще чем-то таким же – механическим, серым, бездушным, чуть подернутым по краям окалиной, пылью, безжалостной ржой. Огарев и не знал, что так бывает. Старичок, видимо, тоже. Он чуть не плакал, бедняга.

Вот ведь сука. Ты смотри, а?

Огарев подошел, даже не глядя на Пospelову, как не стал бы смотреть на какую-нибудь откровенную дрянь – обгадившегося перед атакой рядового или проворовавшегося – у своих! у своих же! – директора детского дома. Пойдемте ко мне, пригласил он, и старичок засеменял мелко, благодарно, трясая седой аккуратной головой. Его хотелось обнять как родного, честно. Такой жалкий.

Не надо, Иван Сергеевич, попросила Пospelова тихо. Он оглянулся недовольно – она снова была человек, откровенно испуганный, смотрела умоляюще, делала даже какие-то знаки – не то заклинала, не то тонула в невидимой глубине. Пожалуйста, не надо! Ну и дрянь! Поговорю с Шустриком – пусть уволит к чертовой матери. Огарев открыл старичку дверь в кабинет. Пропустил вперед. И месяц почти проклинал себя за самонадеянность плюс выслушивал проклятия Шустрика – вполне, надо сказать, заслуженные. Это не Пospelову надо было увольнять, а его самого. Да, его самого.

Милый простуженный (кстати, на самом деле простуженный, без дураков) старичок оказался на деле просто дьявольским кверулянтом и едва не пустил на дно всю клинику, устроив им все мыслимые проверки, включая проверку на радиацию, это не считая участкового, пожарных, налоговой и СЭС (всем, всем пришлось затыкать бессовестные бездонные пасти, и, главное, все на пустом месте, ни за что, ну ровным счетом ни за что). От суда их едва отмазала дорогушая юридическая контора, штатный юрист клиники просто не справился, честно развел руками – и наличие у старичка вполне официального диагноза (паранойяльный вариант параноидной шизофрении) ничего не изменило. То есть вообще – ничего. Даже законно признанный сумасшедшим, бойкий дед не лишился гражданских и прочих прав, каковые использовал на всю катушку и с большим, надо сказать, знанием и вкусом. Угломонить сутягу удалось с большим трудом, и Огарев, сильно впечатленный всей этой катавасией, сделал для себя два важных вывода. Первый – среди пациентов была большая и, к сожалению, пока для него невидимая категория людей, которые имели цели, отличные от лечения. Второй – Пospelова оказалась не обычной секретаршей, засидевшейся за стойкой до двадцати восьми преклонных лет.

А ты думал, я зря ей зарплату плачу, охламон? Шустрик макнул губы в коньяк, отвратительно причмокнул – он все чаще прикладывался к рюмке, пока попивал еще, не пил, но Огарев видел – тихий бытовой алкоголизм не за горами, незаметный, причудливый, страшный. Хирургом Шустрик пил бы не так, совсем не так. Больше, легче, свободнее. Нет ничего слаще для ремесленника. Нет ничего страшнее для потерявшегося человека. Хочешь? Огарев покачал головой – у него не было поводов пить. Просто не было. Так вот, не знаю, как она это делает, Пospelова в смысле, но ни один псих еще мимо нее не проскочил. Просто, блин, самонаводящаяся какая-то. Если б не она, мы б уже давно разорились. Шустрик подумал и осторожно добавил – на хрен.

Огарев засмеялся. Хрен – пусть даже словесный – не вязался с Шустриком совершенно. Между ними была пропасть – между крепким русско-татарским хреном, верным товарищем товарища Лимонова, и мягким нелепым Шустриком. Как на еврейском будет хрен? – спросил Огарев неожиданно. Шустрик поперхнулся, вылутился изумленно. На каком еврейском? Ну на каком хочешь. На иврите, например. Зайн, застенялся Шустрик. Не, не подходит. А на идише? Поц. Вот. Уже лучше. Так и говори. А еще лучше вообще не ругайся матом, ладно? Огарев неожиданно потрепал Шустрика по плечу, практически приласкал, как приласкал бы смутившегося, попавшего впросак младшего брата. И прости меня за этого деда.

У Пospelовой прощения проси, сказал Шустрик, машинально отпихивая огаревскую руку. Оберегал территорию. Свою микроскопическую свободу. Самолюбие, жалобное, надувшееся, синевато-багровое, как прыщ. Попрошу, пообещал Огарев, и тем же вечером, после приема, поставил на стойку перед Пospelовой торт – традиционную врачебную взятку обслуживающему персоналу. Хочешь нормально работать – лакоми медсестер, замечай санитарок, дружи с секретарями. Делись. Торт был, впрочем, куплен Огаревым самолично – высшая мера признательности и признания. Обычно вниз спускались полученные от пациентов спасибо – бесконечные коробки конфет, букеты и бутылки, простодушные жертвенные дары, робко возлагаемые к самому подножию престола. Поклониться, припасть лбом, отползть, виляя задом, назад.

Но эту коробку Огарев купил сам. «Птичье молоко». Немыслимая мечта каждого советского школьника. Пospelова всплеснула руками, как маленькая. Просияла. Спасибо, спасибо огромное. Самый лучший в мире торт. Я в детстве мечтала, что, когда вырасту, закажу в «Праге» настоящее «Птичье молоко», целый килограмм, и съем его весь – целиком. Вы москвичка, значит? Почти. Из Красногорска. Родителям там квартиру дали – ну вот и... А так они оба в Москве родились. И мама, и папа. Огарев слушал из вежливости – уходить было еще рано, и потом, черт, что-то же еще нужно было... А, да.

Вы извините, что я вас тогда не послушался. С дедом этим сутяжным. Ну, с шизофреником. Ничего страшного. Все ведь обошлось. Да, обошлось. Она смотрела снизу, из-за стойки, чуть прищурясь, словно на солнце. С восхищением, неприятно настойчивым. Словно толкала. На эшафот, на трибуну. На подвиг. Вот теперь можно было смело уходить. Пора. Ну, до свидания, Анна... Черт, отчества не помню совершенно. Огарев подвис в воздухе, не зная, на что опереться, как сорвавшийся с трапеции акробат. Не страшно, потому что страховка. Но все равно неприятно. Николаевна, подсказала она. Но лучше не надо по отчеству. Мы же вместе работаем. Хорошо, покладисто согласился Огарев, торопясь отделаться наконец. Сколько уже можно? Еще раз спасибо и до свидания, Анна.

Антошка, еще раз подсказала она, точно поддерживала Огарева под локоть, переводя через улицу. Подталкивала на самом деле, а не поддерживала. Все время толкала. Туда, куда надо ей самой.

Что? – не понял Огарев.

Меня близкие так зовут. Не Анна, а Антошка.

Огарев улыбнулся – вежливо, безразлично, словно отодвинул Пospelову в сторону. Пресекать панибратство одним взглядом он научился еще медбратом. Скучающие сочные мамашки, медсестры, не знающие, с кем скоротать дежурную ночку. Еще не хватало. Он не снизошел даже до повторного «до свидания». Просто кивнул и пошел, чувствуя спиной ее обжигающий взгляд.

Неприятная все-таки. Да, неприятная.

Антошка! – вообразила же себе.

Ни разу он ее потом так не назвал. Ни разу. Как она ни просила.

Глава 4

Очень долго Антошка думала, что так и надо. Так и должно быть.

Ребенок, она воспринимала все, что с ней происходило, как должное. Как единственно возможную норму. Это мой мир. Моя среда обитания. Играть и жить можно где угодно. Детские рисунки из терезинского гетто. Гроссмановский котенок, родившийся в воронке, никудышный. Ни о чем не просил, ни на что не жаловался, считал, что этот грохот, голод, огонь и есть жизнь на земле. Жизнь и судьба. Антошка тоже думала, что все видят то же самое, что и она. Что это нормально. По-другому просто не бывает.

Вот женщина с авоськой идет по улице. Авоська, какое смешное слово, а-вось-ка. Прозрачное, сетчатое. Женщина поймала в свои сети картошку и кефир. Тятя, тятя, наши сети. Картошка крупная, грязная. На кефирной бутылке блестящая беретка из фольги. Зеленая. Все обычное, только в женщине что-то не так, Антошка это видит. Даже не видит – знает. Женщина не такая, как все. Объяснить это невозможно – по крайней мере Антошка не умеет. Пока не умеет. Даже сама себе. Женщина хорошо одета – лакированные туфли, светлый плащ, сзади вместо хлястика (еще одно смешное слово – хлястик) – бант на пуговице. Бантик. Бантик Антошке нравится. Кефир ей тоже нравится, но простокваша еще лучше. Фольга на простокваше розовая, холодная даже на вид. Вот бы лизнуть. Антошка так и делает – лижет, и язык ее, тоже розовый, холодит. Простокваша лежит в чашке глыбками, и, если ее посахарить, она начнет медленно оседать и таять, ноздреватая, как сугроб после оттепели. Значит, скоро весна.

Антошка знает все времена года. Она уже большая. Закончится эта весна, потом будет лето, а осенью Антошка пойдет в школу. Она не отрывает глаз от женщины, не может оторвать. На улице много людей, все куда-то торопятся, но Антошка видит только светлый плащ, хлястик-бантик, кефир и блестящие черные туфли, в которых плывут, отражаясь, улица и туча. Женщина – не такая, как все. Не такая. Чуть-чуть не так двигается. Держит голову. Как будто все вокруг настоящие, а она – нет. Или наоборот. Все нарисованные, и только эта женщина выпирает, словно норовит вырваться из раскраски. Антошке не страшно, просто немножко неприятно. Она бы рада не смотреть. Но не может.

Женщина чувствует ее взгляд и оборачивается. Целую секунду они смотрят в глаза друг другу – Антошка и женщина. Целую секунду они друг друга видят. Женщина знает, что Антошка знает. Антошка – тоже. Глаза у женщины абсолютно черные – совсем. Нет ни белков, ни зрачков – ничего. Это неправда, конечно, но Антошка видит именно так. Женщина смотрит тяжело, откуда-то издалека, из непроницаемой глубины, которой Антошка пока не знает названия. Антошка слышит тихий зов, еле уловимый звук, которого тоже не понимает. Ей кажется, что женщина зовет на помощь. Молча. Женщине плохо. Это плохо медленно поднимается, колышется у Антошкиных колен, потом у груди, подбирается к горлу. Темное. Густое. Женщина все стоит, потом вдруг делает шаг к Антошке, как будто между ними – нитка, за которую тянут, тянут, тянут, тоже неизвестно откуда. Неведомо кто.

Антошка держит за лапу игрушечного зайца и знает, что он не поможет. Никто не поможет. Только она сама. Женщина делает еще один медленный шаг. Антошка, марш домой! – кричит из окна сердитая мама, и морок немедленно отступает. Женщина равнодушно отворачивается, перехватывает авоську, идет дальше, улица и туча плывут в ее туфлях, она уносит их с собой. Антошка еще секунду смотрит ей вслед, голова кружится, кружится в животе, черное отступает, тянется неохотно. Такое липкое. Густое. Женщину невозможно жалко. Она не такая, как все. Совсем одна. Как будто с другой планеты. Это очень плохо, когда ты с другой планеты – и совсем один.

Антошка! – мама кричит так, как будто ее режут. Это папа так говорит – что ты орешь, как будто тебя режут. Хотя Антошка, когда порезала палец, как раз совсем не орала. Хотя было

очень больно. Лезвие тихо хрустнуло по кости, скрипнуло даже. Антошка слышала. Черный хлеб. Розовая колбаса. Желтое масло. Даже много лет спустя она будет ломать хлеб. Не резать. Ломать. И никаких бутербродов. Слишком больно. Да неужели вы не замечаете? Слишком больно!

Антошка идет к подъезду, подпिनывая камешек. Тыц-тыц. Заяц тянет по асфальту неживую лапу. Антошка слышит и видит то, что недоступно другим. Но пока не знает об этом. Она думает, что женщину видят все. Что всем ее жалко. У подъездной двери Антошка оборачивается еще раз. Женщины нет. Черного нет. Ушло. Отступило. Улица заполнена землянами, дома остывает в тарелке куриный суп с вермишелью и фрикадельками, из-за вареного лука с мамой опять будет склока. Антошка – обычный нормальный ребенок. Смышленный детеныш шести с небольшим лет.

Безумие. Вот что она видит. Человеческое безумие. Антошка – королева сумасшедших. Детонатор. Проводник. От слова – «провод». Красный, белый, зеленый. Прыгающие на черном экране цифры. Обратный отсчет. Десять секунд до взрыва. Восемь. Семь. Пять. От того, как соединишь проводки, зависит судьба целого мира. Антошка замирает перед дверным звонком, в одной руке красный проводок, в другой – белый. В подъезде воняет кошками, мочой, липкими тополиными почками, детством. Когда-нибудь Антошка вырастет. Когда-нибудь станет врачом. Это так же просто и понятно, как ключ под половиком, который она чувствует подошвой. Ключ есть всегда. Даже искать не нужно. Просто представь себе, куда бы сам его спрятал. Правильно. Вот тут. Наклонись – и бери.

Дверь распаивается, мама стоит на пороге – сердитая. Даже волосы у нее злятся. Я чуть горло себе не сорвала! Два раза уже обед разогреваю! А ты торчишь на улице битый час без малейшего толка! Глаза у мамы светлые-светлые. Даже когда она кричит. Мама совершенно нормальна. Папа тоже. Антошка вдруг бросается вперед, обнимает мягкое, теплое, родное, утыкается головой. Фартук, пропахший стиркой и кухней. Мама. Мама! Ты заболела, что ли? Дай лоб пощупаю. Горлышко не саднит? Антошка крутит головой – нет, она совершенно здорова. Как мама. Как папа. Она тоже с этой планеты. Все они.

Но в руках у Антошки разноцветный клубок проводов, которые ведут в никуда.

Антошка всегда любила лечить – с самого детства.

Это была не обычная малышовая возня с понарошку заболевшими игрушками. Нет, из любой кукольной груды она безошибочно выуживала самое несчастное существо – не хрестоматийного заласканного мишку с оторванной лапой, а действительно бедного, никому не нужного, жалкого уродца. Безобразного, едва узнаваемого зайца, пластмассового пустотелого пупса с неуловимым фабричным изъяном или оскальпированную куклу, навеки вывернувшую внутрь себя остановившиеся стеклянные глаза. Идеальная, кстати, модель для иллюстрации шизофрении. Став Анной Николаевной, Антошка убедилась в этом не один раз.

Определив самого безнадежного пациента, Антошка спокойно, деловито, без малейшей жалости принималась за лечение, тоже совсем не детское. Вместо того чтобы перевязывать, ощупывать, спрашивать, что у нас болит, отрезать воображаемый аппендикс или как-то еще подражать взрослым, настоящим врачам, она просто крепко прижимала увечную игрушку к себе и несколько минут сидела, очень серьезная, очень ответственная, кажется, даже почти не дышала.

Что ты застыла без толку, Антошка? – спрашивала мама, выглядывая из кухни. – Разве так играют?

Антошка сердито хмурила брови – короткие, прямые, в одну линию с тоже прямой короткой челкой.

А я не играю, отвечала она. Я – лечу!

Ну кто так лечит? – удивлялась мама, она была *училка* (надо говорить правильно – педагог!) и потому, раскрутив ежедневный воспитательный маховик, не могла остановиться даже вечером, дома. Да что там вечером – ночью: ну куда ты, опять мне волосы прижал, да тиш-ше, а то ребенка разбудишь! Отец тяжело вздыхал, отворачивался к стенке – и в такт с ним в соседней комнате поворачивалась на другой бок Антошка, надежно отделенная от мира взрослых полным непониманием, синим байковым одеялом, кирпичной стеной. Собственная комната! Небывалая роскошь – мои игрушки, мой стол, моя кровать. Крошечные тапочки, стоящие по стойке смирно – пятки вместе, носки – врозь. Недетский, выверенный, угрюмый порядок. Нет, моя никогда вещи не разбрасывает! Не то что другие. Антошка была – не наша. Моя. Мамина. Мама. Мамина Антошка. Папа был не в счет. Вернее, счет всегда был не в его пользу. Стена делила квартиру, ползла неторопливо – невидимая и непреодолимая. И каждый день прибавлял по одному кирпичу.

Мама вытирала руки полотенцем – *полотенчиком* – вафельным, хрустящим (отбелить, прокипятить, прогладить с двух сторон). Ну что ты вцепилась в этого зайца? Лечат по-другому. Надо посмотреть сперва, что у него болит. Если лапка, то перевязать. Если горлышко красное – дать чаю с малиной. Или молоко с медом. Помнишь, когда ты простыла, я тебе мед давала? Не надо, упрямылась Антошка. Она была не в силах объяснить, что никакие малина или мед не помогут зайцу снова стать счастливым, что нужно совсем другое, и мама, огорченно поджав губы, исчезла на кухне. Никакого воображения у ребенка, как она только учиться будет? Отец поводил плечами, точно сбрасывал невидимый груз, и тянулся за очередной сигаретой. Как-нибудь выучится, говорил он, замороженно наблюдая за подвижными руками жены – вот кухонный нож ловко скользит по картофелине, винтом кружится живая желтая кожура, и очередной гладкий голый клубень с бульканьем падает в холодную воду.

Школа, а потом ПТУ не дадут ребенку пропасть.

Мама недовольно фыркала – отцовские шутки она считала дурацкими, через год, когда Антошка пошла в первый класс, они развелись, но жить остались под одной крышей. Как интеллигентные люди. На самом деле ни одному ни другому просто некуда было идти. Антошка переехала к маме, в бывшую родительскую спальню, а отец навеки остался в ее детской комнате. Он был – не пришей к одному месту рукав. И все люди как люди, а этот! Это мама так говорила. И Антошка долго еще мысленно отделяла отца от всех людей – сначала с одним знаком (мой папа – не такой, как все, а самый лучший), а потом – с другим (мой папа – трус и неудачник).

Пока все не встало на свои места и не перепуталось окончательно.

Посидев несколько минут в целительной неподвижности, Антошка разжимала объятия и относила выздоровевшую игрушку на место. Больше они друг с другом, как правило, не играли никогда – рецидивов после Антошкиного лечения не случалось, а здоровыми она не интересовалась. Здоровые были здоровы – и Антошка просто не понимала, что с ними делать. Их и так все любили. К чему тут еще она?

Вообще с любовью в жизни Антошки все обстояло очень и очень непросто. Любви было много, слишком много, просто деваться было некуда от этой любви. С самого детства и даже еще раньше. Ее даже назвать хотели – Люба. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Ужасное имя! Просто ужасное! Папа восстал, как Спартак из книжки Рафаэлло Джованьоли, вот это было красивое имя, конфетное, все в кокосовой стружке и нежных бумажных кружевах. Мою дочь не будут звать как какую-то уборщицу! А кто тебе вообще сказал, что это твоя дочь?! Буц! – пощечина, вопреки всякой логике, прилетала папе, а не маме. Рука у нее была быстрая, тяжелая, ловкая, Антошкина задница прекрасно это знала – мама была приверженец суровой советской педагогической школы. Макаренко тоже лупил своих детей. Это были не его дети, а беспризорные!

В результате длительных кровопролитных боев Любочка превратилась в нейтральную Аню, которая тоже никому не нравилась, но хотя бы одинаково. Антошка – это вообще было самоназвание, результат Антошки, Антошки, пошли копать картошку и прочего невесомого словесного сора, которым полагалось заполнять малолетние головы по мере подрастания. Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, – а слова являются о третьем годе. Рыжий конопатый мальчик, подозреваемый в убийстве дедушки (лопатой), понравился Антошке так сильно, что она самостоятельно приняла на себя его грех, его одиночество, его имя. Просто перестала откликаться на Аню, Анечку, Анну Николаевну. Она хотела быть рыжей, конопатой, никому не нужной, не такой, как все. Подозреваемой. Первый и страшный пример эмпатии, которая едва не изуродовала потом всю ее жизнь.

Хотя почему – едва не?

Изуродовала.

Но тогда, в три года, никто ничего не заметил, кроме неслыханного упрямства, просто неслыханного, ребенок в таком возрасте не может и не должен быть таким настырным. Антошка. Антошка. Если иначе – значит никак. Пользуясь случаем, передаю тайный привет Антону Семеновичу Макаренко, советскому писателю и педагогу. В блюдечках-очках спасательных кругов. Брат-белогвардеец, приемные дети, холод, голод, попытка застрелиться, все плохо, все плохо, ничего не получается, никто не слушается, ничего не выйдет. Ни из этих детей, ни из меня. Критики в пух раздербанивали все его книги. Коллеги в грош не ставили его методику. Умер скоропостижно, в вагоне электрички, 1 апреля 1939 года. Мертвая голова еще долго стучала о ледяное стекло в такт колесам, стыкам, рельсам-рельсам, шпалам-шпалам. Книги – это переплетенные люди. Ничего этого Антошка, конечно, не знала. Она и «Педагогическую поэму» прочитала в 15 лет, с грехом пополам, ноя, из-под маминой палки. Вообще не любила читать. Хотя Задоров и Осадчий ничего, ей понравились.

Читать не было смысла. Был смысл только лечить.

Говорим же – любви накопилось много, слишком много.

Сама Антошка была, если вдуматься, – классическое дитя любви, плод смешения некачественных, но крепких советских напитков – ядреный «Солнцедар», безымянная водка по три шестьдесят две, в народе именуемая просто «сучок», и несколько бутылок кислощего, змейского «Алжирского». Единственной данью культурной программе стал кулек купленных в кулинарии «Англетера» пирожков с вязигой, вот они выходили легко и красиво, а с остальным Антошкиной маме наутро пришлось помучиться. Боже, стонала она, в очередной раз прижимаясь потным лбом к прохладному фаянсу и даже в таком положении пытаясь сохранить облик духовной и интеллигентной советской девушки. Боже, это не «Солнцедар», это какой-то «Сердцедер»! Не умничай, когда блюешь, посоветовала Танька, самая лучшая подруга, лучше не бывает, просто кремень, и призрак Бориса Виана покинул женский туалет общежития ленинградского истфака, никем не признанный, но очень довольный. Вечером того же дня, промерзнув до костей и так и не попав ни в Эрмитаж, ни в Русский музей (черт бы подрал этих школьников с их новогодними каникулами!), группа студентов московского педагогического института отбыла из колыбели революции назад, в столицу нашей Родины Москву.

В поезде было еще холоднее, чем на улице, бросались в окно то безымянные полустанки, то громадные фонари, плыли под потолком желтоватые грязные лампы. Антошкину маму все еще мучило, Танька глядела без всякого сочувствия и предлагала выйти в тамбур покурить. Чтобы уж наверняка. Антошкина мама отказалась, и Танька ушла, прихватив с собой двух нестерпимо хохочущих кавалеров, кажется, с физкультурного – народу на студенческую конференцию набрали с бору по сосенке, ну кто, кто, спрашивается, устраивает конференции во время каникул? Антошкина мама свернулась на твердом плацкартном сиденье, подобрала зазябшие ноги, прикрыла глаза, чтобы не видеть ни полустанков, ни фонарей, денег на постельное белье ни у кого не оказалось – ужас, разве можно столько пить? Срамота какая! Ну и сра-

мота! Зато мне грамоту дали, похвалила сама себя Антошкина мама, задремывая, в вагоне пытели, стонали со сна, пахли носками и плохо переваренной скверной едой самые счастливые люди на земле – советские, великая общность, великий народ, и тот, кому почудилась в этих словах хоть малейшая ирония, все забыл или, того хуже, родился после 1985 года.

Кто-то осторожно накрыл Антошкину маму чем-то тяжелым и теплым, она вздрогнула, открыла глаза. Это был тот, невысокий, тощенький, с патлами, с которым, Антошкина мама поморщилась, она взсос целовалась на этой ужасной пьянке. И не только целовалась, кажется. Все, все, больше никакого портвейна, никакой вязиги, никаких пирожков! Спасибо, шепотом сказала она, натягивая на плечи пропахшее табаком и чужим домом пальто, серое, дурацкое, как из «Детского мира». Мальчишки в школе такие носили. Троечники из неблагополучных семей. Она попыталась вспомнить, как патлатого зовут, но не смогла, желудочная мерзкая муть болталась у самого горла – кажется, Игорь? Или Леша? Но точно истфаковский, наш, курсом, кажется, старше.

Молчать дальше было неудобно, и Антошкина мама снова прикрыла веками сухие, как будто даже шершавые глазные яблоки. Патлатый постоял над ней еще секундочку, излучая тихую жалость, а потом послушно исчез – да так основательно, что через два месяца Антошкина мама едва его разыскала, зареванная, опухшая, страшная, как свежевывловленный утопленник, сам еще не осознавший своего ужасного конца. Еще через месяц они по-быстрому, со справкой, расписались, и осенью 1972 года родилась Антошка.

Звали, кстати, патлатого Николай. А Антошкину маму – Екатерина Семеновна. Екатерина Семеновна Пospelова. Антошка тоже была Пospelова. А папа – Старухин. Гадость какая – никогда в жизни не буду Старухина! И дочь моя не будет! Даже не проси. Может, он и не просил, Антошка не знала. От папы ей досталось только отчество. Этого даже мама отобрать не могла. Все-таки документы есть документы. У ребенка должен быть отец! Пусть даже такой, как ты.

В детстве Антошка очень радовалась, что у нее есть и мама, и папа. Что они вместе. Потом, когда выросла, так же сильно жалела, что родители не развелись. Все равно их объединяла только любовь к Антошке. Они почти разорвали ее пополам этой своей любовью.

Лучше бы вы развелись! Лучше бы вы развелись! Лучше бы вы развелись!

Но так ведь они и развелись. Антошка просто это не сразу заметила.

Детство ее было полно до краев – анилиновое, ядовито-яркое, алое и золотое. Советское. Закроешь глаза – и на опаленной сегчатке еще несколько секунд дрожит маленький огненный галлюциноид. Серийный пламенный революционер. Демонстрация на Первое мая, парад – на Девятое, Седьмое ноября. Ничего формального в этих праздниках не было – неправда. Такие же теплые, как Новый год. На Пасху красили яйца, на первомайскую демонстрацию делали цветы из папиросной бумаги – пышные, почти кладбищенской красоты. Их прикручивали проволочками к живым голым веткам и, ликуя, махали трибунам. После парада (на Красную площадь вступают сотрудники военного краснознаменного института Министерства обороны СССР, потерпи еще немножко, скоро и наша очередь) все шли гулять, счастливые, взрослые, дети, в распахнутых плащах. Лаковые туфельки, белые колготки на плотных веселых ножках. Нельзя, Антошка, не лезь в траву, зазеленишь – других нету. Белые колготки были дефицит, праздничные, только для парада. Они так и назывались – парадные. Дефицитом было вообще все легкое, промышленное, зато в избытке производилась радость, неподдельная, человеческая. Производилась, впрочем, самими людьми.

Антошка была 1972 года рождения – и детство ее выпало на безупречные, ну правда же, безупречные времена. Золотые годы величественного, самую малость потрепанного застоя. Пирамида Маслоу стояла незыблемая, основательная, заполненная по всем пунктам. Антошка прыгала по ступенькам этого мрачного, в сущности, зиккурата легко, весело – советская

девочка, маленькая почтимосквичка, у которой было решительно все, о чем только можно мечтать.

Физиологические потребности? Она не голодала, жила в отличном доме, в своей собственной комнате. Белые колготки, конечно, были дефицитом, но тем не менее они были, у мамы имелся кримпленовый плащ, у папы – вельветовый костюм и свитер с высоким горлом, как у дяди Хэма с фотографии, плюс по высшему образованию на каждого, и сосиски тоже можно было купить, и глазированные сырки, и бананы. Правда, приходилось хвоститься в очередях и могло и не хватить, но от этого сырки становились только желаннее и вкуснее.

Потребность в безопасности? Чувство уверенности? Избавление от страха и неудач? Прыг, скок, устав играть во дворе, они всей стаей – нет, гурьбой, какое хорошее и забытое слово! – гурьбой шли в ближайшую, чью угодно квартиру, не было дома, где бы их не накормили, не было взрослого, который не прикрикнул бы на них, вздумай они расшалиться сильнее, чем позволял кодекс строителей коммунизма и законы советского общежития. Двери в квартиры ни у кого не запирались – Наташк, ты дома? Соли не одолжишь? Тетя Катя, мама испекла пирог и просила вас угостить. Ах ты, сука! Загуляла, да? Вот я тебе кишки-то на голову сейчас намотаю... Ой, люди добрые, помогите, опять Вовка Ленку бьет! Участкового, участкового зовите! Не надо, не надо, товарищ лейтенант, я сама виновата, сама виновата, клянусь.

Товарищ лейтенант уходил, грозно козырнув, перед ним расступались уважительно. Он был сила и справедливость. Карташов-то, младший, ну придурок и есть, стащил из красного уголка печатную машинку, да хер же его разберет зачем – сказал, писателем хочет стать. И что?! Не посадили! Участковый только пинка ему дал – и все. Дядя Степа, ну. Человек! Милиционер. Антошке говорили – если заблудишься, испугаешься – ищи человека в форме, военного или милиционера. Он обязательно поможет. Антошка верила – искала глазами серый китель, родимую защитную гимнастерочку, звездочки на погонах, вкусно пахнущие ремни. Только посмотришь – уже не страшно. Там мальчишки. Ты проводи, пожалуйста, меня.

В двухтысячные она, уже Анна Николаевна Пospelова, шарахалась от любого человека в форме на противоположную сторону улицы, подальше от артобстрела. С бандитами – она знала из девяностых – еще можно было договориться, от гопников – убежать, но менты – это была безнадега, живыми от них не вырывался никто, и в полицейском обличье они стали еще чудовищнее, словно маньяк, пытающийся завязать приятный разговор со случайной попутчицей в электричке. Да, знаете, у меня у самого дача в Солнечногорске, что ж вы одна так поздно? Стук-перестук, вагон все пустеет с каждой остановкой, окно наливается чернотой, разговор не клеится, разваливается на части, она все натягивает платице на колени, а он улыбается, улыбается, забыв, что уже улыбнулся в прошлый раз, так что она ничего уже не видит, кроме этого чудовищного оскала, нечеловеческого, потому что нет ничего человеческого во власти, которая основана на безнаказанности одних и обреченном ужасе других.

И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.

Потребность в принадлежности и любви. Громадный гранитный блок, фундамент любой нормальной психики. Практически рефлекс. Как сосательный или глотательный. Неугасаемый, можно даже сказать – неугасимый. Я люблю тебя – следовательно, я существую. Антошку никто не планировал, не ждал, но любили ее – самозабвенно. Медовый месяц родителей, едва знакомых, в сущности, студентов, растянулся на целых семь – до момента Антошкиного рождения. Лишенные свадьбы, свадебного путешествия (пусть даже на Волгу, на дачу, хоть в какой-нибудь захудалый турпоход), они всю страсть, которую так и не сумели испытать друг к другу, обратили на невидимый пока эмбрион.

Они оставили этого ребенка! Они его пощадили!

Каждый считал, что это его заслуга, каждый требовал персональной благодарности. Ты кого любишь больше – маму или папу? Наклонялись над круглой Антошкиной головой, смотрели так, будто не ответ должны были услышать, а приговор. Антошка, зажата в эти страшные

тиски, даже в три года понимала – отвечать нельзя, нет. Категорически нельзя. Как на допросе. Пусть лучше до смерти забьют, но молчи. Любить маму и папу можно было только отдельно. Поэтому Антошка жила две параллельные жизни разом, и жизни эти не пересекались, вопреки воспаленным выдумкам казанского профессора с гладким именем Лобачевский. Мама подтыкала одеяло перед сном, плотно-плотно, конвертиком, папа – взбивал подушку, так что больно становилось шее. Для мамы Антошка любила «Айболита» и котлеты с картошкой-пюре. Папа читал – твое любимое, мартышка, – «Конька-Горбунка» и наизнанку изворачивался, чтобы добыть – опять же твое любимое! – сосиски молочные. Если достались свежие, то можно выдавить из скользкого целлофана и тайком, чтобы мама не видела, разрезать с папой одну на двоих, гладкую, розовую, упругую. Сырую. Маме надо было фырчать в ухо, тихо-тихо, как будто мы с тобой ежики, да, Антошка? С папой играть в ехали медведи на велосипеде, по кочкам, по кочкам, в ямку – ух! Антошка взлетала над твердыми отцовскими коленками, радостно хохоча.

Папа водил ее на карусели, мама – в цирк, взволнованную, счастливую девочку с косичками. На каждой косичке – капроновый бант. На каждом капроновом банте – смешные плюшевые горохи. Красные! Кружились, ныряя, тошнотворные игрушечные лошадки, папа махал рукой, спотыкался, бежал за лошадками следом, радуясь, что доченьке хорошо. Он так и говорил, бедный, – доченька. Антошка сияла в ответ, тоже махала, сглатывая горькую слюну, ее укачивало, понимаете? Тошнило на каруселях. Все время. Никогда не прошло. И сахарную вату она ненавидела. Настоящие цирковые лошади кружили по арене в том же страшном ритме, колыхались у них на спинах пышные сказочные султаны, корчились под потным лошадиным брюхом, проявляя чудеса вольтижировки и джигитовки, худые измученные человечки, и даже само это слово – вольтижировка – вгрызалось в Антошкино сердце, как тупая, ужасная, нарочно медленная пила.

Правда, чудесно? – спрашивала мама, сжимая влажную Антошкину ладонь, и корона самой лучшей мамочки на свете сияла на ее волосах, мучая, ослепляя. Антошка, назубок знающая свою партию, кивала, повинувшись невидимому хлысту, и – алле, оп! – послушно прыгала через полыхающий всамделишным пламенем обруч. Цирк она ненавидела – из-за непостоянной концентрации страха, отчаяния и боли. В цирке плохо было всем – даже пуделям и львам, затравленно провожавшим взглядом каждое движение такого же затравленного дрессировщика. Каждое «алле» или «оп» прятало внутри удар – быстрый, обжигающий, невидимый, но самый настоящий.

Больно!

И снова – больно.

Ап!

Антошка, приоткрыв от ужаса рот, смотрела на гимнастов и клоунов – стареющих, пьющих, несчастных. Сквозь слои белил, перья и блестки глядели на нее человеческие глаза, уставшие, налившиеся кровью от натуги, с желтоватыми склерами, больные. Привычная ломота в суставах, привычный страх покалечиться, жалкое жалованье, жалкая зависть, гастрольная несносная маета, вонь, толпа, качающаяся на стыках, опасная, неверная плацкарта...

Никто так и не заметил. Ни мама. Ни папа. Антошка так и не рискнула их подвести. Не посмела. Так и несла, надрываясь, громадную, горой на горб наваленную любовь. К шести годам она достигла виртуозных вершин притворства, стала профессиональным, законченным, совершенным лгуном, маленькой королевой мимикрии. Нет, не так. Ее стало – две. Одна для мамы, одна для папы. Ни одной – для себя самой. Это и был приговор родителям, окончательный, не подлежащий обжалованию. Страшный. Антошка стала Инопланетянином Брэдли. Еще одна непрочитанная книжка. Слава богу. Если бы Антошка принялась жалеть еще и вымышленных людей, ей бы точно пришлось умереть.

Взаправду. По-настоящему. На самом деле.

Ее и так рвало, когда родители, слава богу – редко, обрушивались на нее разом. Единственный совместно проведенный отпуск (ребенку нужно на море! только такой рохля, как ты, не может достать путевку!) обернулся для Антошки больницей – самой настоящей, детской инфекционной. Температура сорок, слабость, бредовое состояние, неукротимая рвота, обезвоживание, частое мочеиспускание – симптомы противоречили друг другу, педиатры качали головами, налицо картина острой инфекции, но при этом анализ крови – идеальный. Пятилетняя Антошка, осунувшаяся, взрослая, усталая (в больнице ей мигом стало легче – физически, только физически), стояла у окна и смотрела на родителей, часами торчавших внизу.

Огнедышащий июль, Анапа, сосны. Мама и папа.

Задрали головы, выискивают перепуганными мокрыми глазами дочку.

Каждый – свою.

Именно в больнице Антошка поняла, что хочет стать врачом. Поняла по-взрослому, без сантиментов – просто приняла решение. В больнице ей понравилось все – особенно распорядок, железный, ненарушимый. Настоящий каркас дня. Его совесть. Дома царил вечный бардак – папа шел на работу к десяти, мама вскакивала в шесть, они то сидели на безрадостных магазинных пельменях, то на маму вдруг находил, как она сама выражалась, стих, и тогда деваться некуда было от пирожков с невиданной и неумелой начинкой, которые она изобретала и жарила все воскресенье – в зачумленном чаду, на почти невидимой от дыма кухне. То вдруг затевалась изостудия для Антошки, но уже через три занятия выяснялось, что водить ее туда по вторникам и четвергам неудобно и некому. И Антошка, только свыкшаяся с большой незнакомой комнатой, в которой рядками стояли мольберты и царил в самом центре большой медный кувшин на нарочито мятой тряпке, снова вынуждена была менять едва наладившуюся жизнь. Как и всякий ребенок, она нуждалась в простом повторении простых вещей. Детский мир – он ведь очень древний, примитивный, плоский. Три простодушных слона, перетаптывающихся на огромной черепахе. Мерное вращение целой вселенной вокруг одной неподвижной колыбели.

Центр мира.

У Антошки этот центр все время смещался, сбивался, как прицел. Ускользал.

Это было сложно.

А в больнице все стояло на своих раз и навсегда определенных местах. Кровати. Капельницы. Час, когда приносили смешные маленькие стаканчики с таблетками. Тарелка манной каши с солнечной масляной лужицей в самом центре. Обход, совершавшийся в определенный час, словно не обход – а восход. Или закат. Что бы ни случилось, солнце покажется с этой стороны.

Спокойно. В больнице было спокойно.

Но больше всего Антошке понравились врачи. Они все знали, понимаете? Знали. Ни в чем не сомневались. Не суетились. Огромные, неторопливые боги, пахнущие прохладой, йодом и жавелевой водой. Антошка, никогда прежде ни о чем не мечтавшая (у нее ведь все было, все, даже кукла из «Лейпцига»), с недетской, неожиданной силой захотела стать точно такой же – всеильной, всевластной, всемогущей. Проходить точно так же коридором, пряча в складках халата огромные крылья. Склоняться утешительно. Бесшумно парить. Сияющие шприцы. Звяканье металла. Прозрачные ампулы. Круглая серая картонка, присыпанная по краю острой алмазной крошкой. Надрезанное, покорившееся стекло.

Это был ее мир. Ее место. Понимаете?

При выписке она разрыдалась, никак не желая уходить. Смирилась, только получив в подарок старенький сломанный стетоскоп. До сих пор лежит в шкатулке с самыми дорогими сокровищами. Почти пустая. Стетоскоп да свидетельство о браке. Других сокровищ не накопилось за целую жизнь.

Потребность в самовыражении и личностном росте. Самая последняя ступенька. Самая макушка пирамиды, над которой только небо, почти черное от немислимой высоты. Вершина мира. Она должна была вернуться. Должна была стать врачом. Но не допрыгнула. Не сумела.

Ни мать, ни отец не смогли ей помочь. Нет, неправильно. Не могли. Вообще. Антошке не на кого было рассчитывать. Фактически она была единственным в семье по-настоящему взрослым человеком. Вставала по будильнику (даже мама ухитрялась иногда проспять), не забывала мыть руки перед едой, сама, без напоминаний, убирала за собой игрушки. Требовала ответы на вопросы. Не отговорки. Ответы. Как стать врачом? Ну, это надо очень много учиться. Мама поудобнее сворачивалась на диване, заложив пальцем «Роман-газету». Номер пятый за 1977 год. Астафьевская «Царь-Рыба». Много – это сколько? Антошка смотрела настойчиво, исподлобья. Тянула мать за капроновый скользкий халат. Много – это много. Школу сперва закончить надо. А ты еще в первый класс даже не пошла. Мать поджимала большую гладкую ногу. Ежилась зябко. Пледик лучше принеси. Он у отца в комнате. Знаешь? Коричневый. В клетку.

Антошка знала. Что где лежит. Что куда спрятано. Отцовская сберкнижка. Сережка матери, впопыхах убежавшая из шкатулки. Колготки целые. Колготки штопаные – под брюки. Носки, пестрым вялым комком сваленные в комодный ящик. Антошка со вздохом доставала их, раскладывала парами – серый к серому, черный – к черному, у этого на пятке сквозит будущая бледная дырка. Штопать на деревянном грибе Антошка научилась у соседки, у нее же обитал и сам гриб – деревянный, теплый, заметно обкусанный по краям коричневой шляпки каким-то давно выросшим и даже состарившимся младенцем. Баба Маша. Одинокая, полная, немолодая. Никогда не торопилась. Родители торопились всегда. А зачем? Пospешишь – людей насмешишь. Давай-ка садись поближе. Вот видишь, иголка большая какая? Называется цыганская. А потому, что цыгане такие продавали. Для штопки лучше всего. Антошка представляла себе пестрый, волчком кружащийся табор, из которого торчали во все стороны ежиные острые иголки. Цыганские. Дырка на пятке заштриховывалась сперва крупными стежками, потом ход иглы становился все кропотливее, просветы все меньше, и вот облака уже смыкались окончательно, ни лучика, ни пятнышка. Сплошная плотная, вновь народившаяся ткань.

Шов стебельчатый. Тамбурный. Крой рукава – очень сложно. Мережка.

Молодец. Хорошие руки. Ловкие. Вырастешь – мастерицей станешь. Будешь всю семью обшивать, да и сама без куска хлеба не останешься.

Так и не пришлось. Не довелось. Жаль.

Муж, выудив из ящика комода аккуратно, стежочек к стежку, заштопанный носок, повернулся медленно, как во сне. Он всегда становился медленным от гнева. Антошка знала. Останавливал и время, и себя. Чтобы не взорваться. Не убить. Спросил тихо, очень тихо – я что, так мало зарабатываю? Антошка только голову наклонила, сглатывая. Он был главный. Господи, наконец-то. Хоть кто-то главный в ее жизни. Не она сама. Принимал решения мгновенно. Безупречно умный. Безупречно красивый. Молчаливый. Каменные мышцы на широкой спине – каждую Антошка знала наизусть, на каждую молилась, засыпая, долго-долго не решаясь погладить, обнять, прижаться щекой. Он всегда засыпал на правом боку, лицом к окну. Любил так. Муж. Врач. Она даже мысленно по имени его не называла. Не хотела. Муж и врач. Это было самое главное. Самое лучшее. Лежа между его спиной и стенкой, ледяной, украшенной старым совсем, совсем чужим ковром, Антошка чувствовала себя счастливейшим на земле человеком.

Мир, безопасность, уют. Чур, я в домике!

Заботиться, прикрыть собой, спрятаться за него. В него.

Хочу к тебе в сумку. Как кенгуру.

Посмотрел, не понимая, снова опустил голову – вернулся к книжке. Книжки жили в доме везде, путались под ногами, забредали табунком в углы, сваливались на голову, иногда пугали, иногда злили. Как живые. Его книжки. Вытирая пыль, Антошка гладила их по корешкам. Его

книжки. Его носки. Его работа. Его жизнь. Если бы она могла, она бы в воздух превратилась, честное слово. Стала бы атмосферным явлением. Облаком нежности.

Лишь бы он. Лишь бы ему. Лишь бы для него.

Он был всем, чем Антошка не стала. Абсолютно всем.

Хорошим врачом. Хорошим, сильным человеком. Богом. Просто богом.

Заштопаннные носки она выкинула в мусорное ведро. Скрутила в шарик и похоронила рядом с пустой яичной скорлупой и картонным молочным пакетом. Омлет по утрам. Бутерброды на обед, завернутые в прохладную фольгу, – ржаной хлеб, докторская колбаса, немного горчицы, огурчик свежий, ее собственное сердце. Борщ по субботам. Пирог по воскресеньям, всегда кривоватый почему-то, духовка, наверно, плохая. Не своя. А на ужин придумая что-то особенное – потушу кислую капусту с тмином, и он станет есть, быстро, невнимательно, не отрываясь от книжки, роняя на старенькую клеенку (купить новую, заменить!) крошки и куски, капли света и короткие – от коротких волос – тени.

Муж. Врач. Главное все-таки – врач.

Антошка выиграла его, словно миллион по трамвайному билету.

Он был самый лучший на земле.

Она сама должна была быть точно такой же.

Папа работал в музее – архивариусом. Слово тянуло за собой тараканьи усы, усищи даже, сюртук, высокий, расшитый позументами ворот, немилосердно натирающий шею. Умеренность и аккуратность. На самом деле папа был сутуловатый, маленький. Волосы грустными косицами на воротнике, вечно засаленном. Мама, когда они развелись по разным комнатам, стирала только свое и Антошкино. Папа не умел. Да так и не научился. Замачивал свитер в эмалированном тазу, желтом, гулком, засыпал порошком – и забывал на неделю. Свитер тонул в сероватой, хлопьями, пене, которая становилась черной, превращалась в воду, стоячую, густую, как страшный сон. Мама, заходя в ванную, сначала морщилась, потом поводила носом и, наконец, принималась орать про немыслимый свинарник и человеческую распущенность. Хочешь, чтобы ребенок чумой заболел? Из этой тряпки лягушки скоро запрыгают! При слове «лягушки» мама косила на Антошку голубым бешеным глазом – мол, это просто шутка такая, не бойся. Правда, весело? Не весело совсем.

Холодильник поделили тоже – папина полка, мамино-Антошкиных две. Антошка украдкой подкладывала папе сэкономленные куски, но их находила мама и плакала по ночам, отвернувшись от Антошки, тоже хлюпая носом, давясь, стараясь не разбудить.

Антошка все равно слышала, конечно.

Мама ее любила. Папа ее любил. Дедушек и бабушек, слава богу, не было. Повезло. Только призрак папиной мамы. Жила на Кропоткинской, в огромной, гулкой двухкомнатной квартире. Ветеран Великой Отечественной. Герой Советского Союза. Снайпер. Сто двадцать шесть фрицев. Ножка тридцать третьего размера. Единственный сын, поздний. Обожаемый. Так никогда и не сказала – от кого. Умерла, когда Антошке было пять месяцев. Квартира досталась государству. Так и не прописала никого. Сына родного к себе не прописала. Так меня ненавидела! Мама сама закусывала от ненависти губу, пускала по щекам торопливые красные пятна. Потом вставала, хлопала балконной дверью. Втихомолку от Антошки курила.

Антошка, когда подросла, как-то заехала на Кропоткинскую. Долго смотрела на окна квартиры, в которой могла бы жить. Девочка из центра. Остоженка. Пречистенка. Гоголевский бульвар. Если бы продать эту квартиру сейчас – на всю жизнь бы хватило. Золотая милая.

В пятнадцать лет Антошка не просто надеялась, что все сложится хорошо. Она это знала. 1986 год. Двадцать седьмой съезд КПСС. Конец застоя. Самобичевание Ельцина. Самодовольство Горбачева. Чернобыльская АЭС, «Адмирал Нахимов». А ведь, кажется, всего-то год назад взяли курс на ускорение и перестройку. Антошка все пропустила мимо ушей, погруженная в

зубрежку. Она готовилась в мединститут, очень готовилась, ходила в два кружка – по химии и биологии, тургор клетки, коагуляция белка, белые стены, белые плафоны, в перспективе стягивающиеся в ослепительную сияющую точку. Белый халат.

Она ни с кем не дружила в школе, тошенькая (это еще не вошло в моду, еще не ценилось), высокая, очень упрямая. Чересчур. Взведенная, как курок. Молчаливая. Странная. Очень странная. Почти не поднимала глаза. Старалась не ходить одна по улице. Прибивалась к общей подростковой стае, но держалась с краю, то и дело оглядываясь.

Ты шпионка, что ли, Поспелова? А? Колись? Шпионка?

Антошка даже не улыбалась.

Не шпионка она была. Связник.

Все началось очень рано. Слишком рано. Лет в пять. Может, еще раньше, но она просто не замечала. Не умела. Родители отнимали слишком много времени и сил. К тому же мир ее, как и положено миру ребенка, был сперва совсем крошечный. Кроватка, манеж, комната. Демоны туда не проникали. Да если бы и проникли, вряд ли бы Антошка опознала в них демонов.

Колыбельные ангелы. Дремлющее дитя.

В детский садик ее не отдали. Вернее, не взяли. Вернее, отдали и взяли, но Антошка принялась так сосредоточенно болеть, что родители, устав бюллетенить, решили процесс социализации ребенка временно прекратить. Пусть уж лучше дома сидит. Голубые больничные листки, которые Антошка так любила (с ней оставался или папа, или мама, никогда вместе, и это делало жизнь выносимой, вполне выносимой, иной раз даже интересной), исчезли из хрустальной вазы, которую Антошка тоже очень любила. Граненая ладья с почти кремлевскими по краям зубцами. Глянешь сквозь нее на мир – и он уже радостный, яркий, ненастоящий. В один печальный день разбилась, мама подозревала папу и Антошку, Антошка – судьбу, папа отмалчивался, отворачивался, все отдалялся, размахивая руками. Крошечный пустой скафандр в огромном и тоже пустом пространстве.

Подростком уже Антошка как-то заскочила к нему на работу – за запасными ключами от дома. Ее собственные сперли вместе с кошельком – прощайте, двадцать две копейки на пирожное! К маме, в школу, на соседнюю улицу, идти не хотелось. Уж лучше автобусом до архива. Так ближе. Женщины – в архиве работали одни женщины, – увидев Антошку, засуетились обрадованно – Коля, Коленька – к тебе, и папа вышел из дальней комнаты, на ходу приглаживая волосы и счастливо, как никогда дома, улыбаясь. Он оказался высокий, правда высокий, и совсем не сутулился, он был Коленька, светлоглазый, молодой, интеллигентный, славный. Эти женщины его обожали. Чужие женщины. Правда обожали. Даже ключи, которые он вручил Антошке, выудив из кармана, были горячими от обожания. И чай был горячим, и пирожки, которыми ее напичкали, и диван в папиной комнатухе – у него был свой диван на работе, вообще все было свое! Эти женщины. И он улыбался. Все время улыбался.

Пока не настало время возвращаться домой.

У мамы на работе не улыбался никто. Наверно, потому что у них не было своего Коленьки. Одни училки. Мама преподавала историю в шестом классе.

Собачья работа.

Присматривать за асоциальной Антошкой подрядили бабу Машу.

В пять лет она позволила Антошке выходить во двор одной.

Вообще это было совершенно нормально. Двор был тихий. И дом был тихий. И Красногорск. А баба Маша жила на первом этаже и могла справлять свои гувернантские обязанности, просто выглянув в окно. Песочница с грибком и качели красовались как раз напротив. Антошка, мгновенно, кстати, переставшая болеть, обзавелась своими первыми друзьями и недругами, усердно варила кашу-малашу (в песочную ямку наливается вода, вкусная густая

жижа долго вымешивается палочкой), лепила куличики, ела калачики и барашки, уже вправду съедобные, росшие тут же, у скамеек, у дома, у забора. Везде.

Мир был дружелюбен. Солнечный круг. Небо вокруг.

Ей ничего не грозило. Им всем.

Никаких опасностей. Совершенно.

Поэтому, когда синяя тень легла на Антошкину макушку, она и не подумала испугаться. Ей некого было бояться. Полон двор народу. Скоро обед – баба Маша позовет есть вареную картошку с соленым огурчиком. И с докторской колбасой. Колбасу Антошка любила только за название. А огурцы – сами по себе. Особенно бочковые. Баба Маша говорила – с душиком, зато хрумят.

Тень переползла на Антошкины голые коленки, а потом – на пластмассовое ведро. Желтое.

Уходи, тучка, сказала Антошка сердито. Мешаешь.

И подняла голову.

Двор был совершенно пуст. Даже бабы Маши за окном не было.

И только, слегка покачиваясь, словно примеряясь, как половчее ударить, стоял над Антошкой огромный красный мужик. И над макушкой его, высоко-высоко, затмевая солнце, сияло лиловатое тяжелое лезвие занесенного топора.

Он убил всего четверых.

Всего. Вы только подумайте – всего.

Двоих детей – собственных. Сына и дочку. Собственную жену. Ее мать, выбежавшую из кухни со скалкой, мучной, осыпающейся, бесполезной, бессильной. Даже крикнуть не успела. Нет. Недолепленные пельмени. Много. Криминалист, глядя на тончайшее, подсушенное уже тесто, на миску фарша, сочного, ноздреватого, отвернулся и непроизвольно гулко сглотнул.

Свинина напополам с говядиной. Ледяная вода. Перец. Лук.

Антошка была пятой.

Ее нашли в подвале через час.

Нет, неправильно.

Не ее – а их. Ее и мужика. Топор лежал тут же, неподалеку, очень тихий, словно прикрывший глаза. Нет-нет! Это не я! Притворился, будто ничего не случилось. Антошка сидела у стены, и не плакала, и совсем не боялась, а только крепко-крепко, изо всех сил, держала мужика за руку. Так что пальцы ей еле разжали – пальчик за пальчиком, очень осторожно. Опер, огромный, грубый, с медвежьим совершенно, только не плюшевым лицом, чуть не плакал и причитал тоненько – масенька, масенька моя, ты только не бойся. И все прикрывал Антошку от мужика всем телом, пытался прикрыть, хотя на того и так навалилось четверо, потных, остро воняющих страхом, и костяшки пальцев у одного из них были ссажены – ярко, свежо, словно он только что упал с велика на горячий асфальт.

Антошку едва оторвали от мужика, вялого, сонного, как будто набитого до отказа чем-то мягким, тихим, страшным, и несколько недель таскали по врачам. И еще мама очень кричала. Очень. На папу, на бабу Машу, на медвежьего опера. А потом просто так – ааааа!

Баба Маша сказала с уважением – выла прям как деревенская.

Врачам Антошка была рада. Правда рада. Даже гинекологу, которая долго и неприятно осматривала ее в холодном высоком кресле. Антошка, которой уже вколотили в голову, что девочки любой ценой обязаны скрывать от мира свои трусики, мучительно стеснялась, но гинеколог, некрасивая серьезная женщина, наконец распрямилась и, стягивая перчатки, с видимым облегчением сказала – никаких следов насилия. Мама снова заплакала, вся сморщившись, – только теперь уже тихо, отчаянно, словно ей отдавили палец и никак не могли вытянуть его из западни, распухший, страшный, весь дергающийся изнутри от круглой горячей боли. Слава

богу, пробормотала гинеколог и вдруг погладила Антошку по голове – это было странно, врачи не любили никого трогать просто так, без дела. Антошка это очень точно знала. Врачи прикасались только для того, чтобы причинить боль или исцелить.

Слава богу.

А что такое насилие? – спросила Антошка.

И ей никто не ответил.

Мужика признали вменяемым и через десять месяцев расстреляли. Годом позже куйбышевского маньяка. Антошка не узнала об этом, конечно. Да и вообще быстро забыла обо всем, что произошло. И только иногда, проснувшись среди ночи, вдруг снова слышала тихий и монотонный звук – это падали капли с горячей, грубо обмотанной стекловатой трубы, перечеркнувшей подвал низким жутковатым крестом. И еще время от времени тихо, словно от бесконечной усталости, вздыхал сидящий рядом мужик, и тогда Антошка изо всех сил сжимала его очень горячую, очень большую, влажную с изнанки безвольную руку.

Таких, как он, оказалось много. Даже слишком много.

Бедные люди – пример тавтологии. Кем это сказано? Может быть, мной.

Сначала Антошка просто видела их. Ничего больше. Видела – и только. Они были не такие, как все. Точнее, все были не такие, как они. Другие. Слова появились позже – ничего не значащие, звонкие, пустые. Дурак, болван, чокнутый, шибздик, псих, ненормальный. Иногда даже – псих ненормальный. Дебил. Придурок. Идиот. Дети бойко перекидывались этими словечками – обзывались. Не припечатывали даже – впечатывали, как катышек из жеваной бумаги в лоб оппонента. Прирожденные ревнителю нормы, рабы невидимой парадигмы, они истово ненавидели чужаков. Всякий, кто иначе прыгал через скакалку, разбивал яйцо не с того конца, шепелявил, прихрамывал, был из соседнего двора, – подвергался безжалостному остракизму.

Дети знали, как надо. Как должно быть. Расцарапанные и яростные носители примитивных животных законов. Повелители мух.

Антошка никогда не обзывалась. Все равно яростная шрапнель летела в фальшивую цель. Настоящие сумасшедшие не отличались от нормальных ничем. Ну или практически ничем. Все что положено они делали как положено. Как надо.

Просто Антошка их видела.

А потом поняла, что и они – тоже видят.

Ее одну. Больше никого.

Это еще не была судьба. Просто призвание. Признание даже. Тихий аванс.

Счет принесли потом. Очень сильно потом.

Лет в одиннадцать, устав от того, что время текло так невыносимо медленно, Антошка решила подогнать его. Ну давай же, давай! Хотя немножечко побыстрее! Я должна стать врачом. Я хочу! Я обязана, черт побери. Школьные годы волоклись один за другим, пустые, громыхливые, как ночной, невидимый и потому особенно бесконечный товарняк. Антошка записалась в городскую библиотеку и зачастила в читальный зал, где был отдел медицинской литературы. Пользуясь беспечностью библиотечных дев, она под прикрытием детской (во всех отношениях) энциклопедии бесконечно читала и перечитывала пыльные, устаревшие тома, ничего, решительно ничего не понимая и сама не замечая, что улыбается.

Справочник практического врача тысяча девятьсот шестьдесят девятого года рождения. Практические навыки терапевта. Многотомное руководство по терапии. Внутренние болезни. Клиника коллагеновых болезней с чудовищными иллюстрациями – Антошка жмурилась даже от страха, но все равно заставляла себя смотреть, поражаясь тому, каким уродливым может стать человек, если оставить его без помощи, без надежды на спасение, просто без надежды. Груды безобразно скрюченной плоти, средневековые язвы, вопли, стенания, пляшущие в такт пламени бубенцы. Неведомая, непонятная, страшная насмешка Бога. Сначала создать, а потом

медленно, очень медленно изувечить. Смять в кулаке, скатать в шарик, равнодушно размять, и еще, и еще.

Уронить.

Какие грехи надо было совершить, чтобы заслужить это?

Антошка не знала. Правда не знала. Никто не знал.

Еще страшнее была пухлая книга с черно-белыми иллюстрациями – «Акушерство и гинекология». Ужас, лишенный всяких иллюзий – голый, ослепительный, как тысячеваттная лампочка под потолком пыточного подвала. Ягодичное предлежание. Выпадение ручки. Медицинский аборт. Крючки для декапитации, ножницы, щипцы. Неживой младенец, вытасненный из живой женщины, как из холодильника, по кускам. Разъединив позвонки, отрывает мягкие ткани крючком или ножницами. Приглашение на казнь.

Это был ничем не прикрашенный беспристрастный итог отношений между женщиной и женщиной. И Антошка, ни разу в жизни пока не влюблявшаяся, еще не подросток даже, так, едва вступивший в фазу активного роста зверек, раз и навсегда утратила всякие иллюзии по поводу так называемой любви.

Уж с ней это точно никогда не случится! Только не с ней.

Она отнесла «Акушерство и гинекологию» назад, на стеллаж, задвинула поглубже, словно отрекаясь. Следующим в стопке лежало «Творчество душевнобольных». Антошка, прежде чем открыть первую страницу, привычно стиснула зубы, зажмурилась, словно шагая из тепла космического корабля в безвоздушное пространство, – и оказалась дома. Тысячеokie люди, перистые ангелы, вавилоны бесконечных геометрических фигур, скользкие из ниоткуда в никуда линии. Мир сумасшедших был полон сказочных, прекрасных подробностей. Антошка, замороженная этим бешеным кружением, читала одну выписку из истории болезни за другой.

Наконец-то она все понимала.

Это было просто, так просто, что странно, что никто этого не замечал. Безумие – это был просто другой мир, не такой, как наш, но вполне реальный. Совершенно настоящий. Время от времени – Антошка пока не знала почему, но верила, что узнает в мединституте, один мир словно пытался проникнуть в другой, но не мог, никак не мог – и только выталкивал на границу растерянных беженцев, не знающих языка, паролей, местных обычаев, вообще ничего не понимающих. Несчастных. Совпадало все – симптомы, признаки, голоса. Все эти бедняги на разные лады твердили об одном и том же – это был тихий и жалобный вой уже не мечтающих возвратиться домой.

Настоящий крестовый поход обезумевших.

И у каждого большого города они останавливались и спрашивали – не Иерусалим ли это. Миша умер, он ничего не знает!

Вот почему они были такие грустные, бедняжки.

Хотели вернуться назад.

Антошка представила, как берет за руку первого, потом второго, третьего – всех. Как ведет их назад, спотыкающихся, неловких, странных, скулящих – сквозь туман, незаметный для прочих людей и оттого особенно страшный. Как подталкивает осторожно к пропасти, невидимой из-за ржи. Не сюда их надо было затаскивать. Не обливать ледяной водой, не пытаться электрическим током, не выматывать инсулином. Просто показать дорогу домой.

Поскорее вырасти! Вот где она была нужна! Вот кому. Всем им.

Ты чего в темноте сидишь, Антошка?

Пойди погуляй. Вечно торчишь дома одна. Смотри – бледная какая, как поганка. Этак свихнуться недолго.

Антошка послушно вставала, выходила во двор и снова опускалась на ближайшую скамейку. Ей надо было просто подождать. Подождать, пока закончится школа. И поступить в мединститут. Во Второй. Считалось, что во Второй поступить было легче.

Лето 1989 года. Лето 1989 года. Лето 1989 года.

Дождаясь его, Антошка пропустила все на свете – и даже то, что мама и папа снова начали жить вместе, жалко скрываясь от собственной дочери, ссорясь, стесняясь, второй раз, целуясь среди бела дня, украдкой, все под той же крышей, стоя все на тех же граблях. Билеты по физике и по химии были вызубрены назубок, сочинения написаны и тоже заучены – для верности и про партию, и про Пушкина А. С., и на свободную тему – почему я выбрал профессию медика. И еще – каким должен быть советский врач? Биологию Антошка просто знала – хорошо, без зубрежки. Понимала. В кружке во Дворце пионеров на нее нахвалиться не могли.

В общем, Антошка даже почти не волновалась.

Она шла широким коридором, почти бежала, потому что хотела ответить в первой пятерке – не то чтобы лезла в отличницы, а просто чтобы поскорей перескочить на следующий уровень. Синяя юбка, белая рубашка, челка, комсомольский значок, сама себя не осознающая женственность – непроницаемая, ослепительная, как броня. Антошка почти дошла до своей аудитории. Почти. Метров двадцати каких-то не добрала. Столкнулась с парнем, высоким, светловолосым, угрюмым – в белом халате! Уже студент. Счастливый! Антошка позавидовала – мгновенно, легко, небольно, и так же легко простила парню, что он не извинился. Пошел дальше, словно Антошки и на свете не было. Ничего, пообещала она себе, в сентябре я тоже так буду!

И тут из коридора навстречу ей выплыла женщина.

Она была огромная. Грузная. Нет, не толстая – а именно грузная, словно слепленная наспех из тяжелой глины, на которой остались следы пальцев, сырые комки, какие-то уродливые вмятины. Низкие брыла, груди, лежащие на чудовищном животе. Первобытный идол. Толстые линзы очков бликовали на солнце – как будто это не женщина была, а неотвратимо ползущий на Антошку грузовой состав.

Они сразу увидели друг друга. Еще бы. Сразу же.

Антошка остановилась. Как будто налетела на стену.

Женщина тоже.

Ненависть, тяжелая, неподвижная, стояла вокруг нее стеной.

Она была сумасшедшая, конечно. Совершенно ненормальная. Абсолютно. Но не так, как другие. Впервые перед Антошкой был не заблудившийся путник с другой планеты, а нечеловек. Вообще. Враг.

Ах ты, сучка чекистская, сказала женщина одними губами – и что-то похожее на проблеск радости проползло по ее лицу, темному, пористому, страшному. Выпуклая радость узнавания. Женщина мягко колыхнулась и вдруг оказалась ближе к Антошке на целый метр. Как будто переместилась не в пространстве, нет. Во времени.

Антошка шагнула в сторону и прижалась к стене. Лоб, ладони, даже спина мгновенно взмокли. Она вдруг почувствовала, что сейчас описается – прямо при всех. Тут. В переполненном коридоре мединститута. В восемь часов тридцать минут утра третьего июля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Тело готовилось даже не к побегу. К смерти.

Женщина передвинулась еще – медленно, никуда не торопясь. Как будто ее притягивала к Антошке сила, невидимая и неотвратимая, как сила тяжести. Нет, не так. Как будто Антошка была детонатор, а женщина – бомбой и момент их соединения был вопросом даже не времени, а ловкости рук громадного невидимого сапера.

Антошка попробовала закричать, но не смогла, только раскрыла черствый кривой рот и села на корточки, мазнув спиной по стене. Зажмуриться она не смогла тоже и потому просто смотрела. Просто смотрела. Просто смотрела.

Вот что такое безумие, оказывается. Вот какое оно.

Никто не обращал внимания. Никто не видел. Как будто ни женщины, ни Антошки вообще не было.

Женщина сделала еще один шаг – и Антошка вдруг заметила, что на ее огромную голову словно нахлобучена детская, трогательная шапочка живых, человеческих волос. Прическа паж. Антошку так стригли в детстве. Именно так была подстрижена Цветаева, когда вдевала голову в петлю.

Антошка так и не поняла, откуда взялся толкнувший ее парень и как она оказалась у него за спиной. Ну, тот, угрюмый, который и не подумал извиниться. Вернулся, наверно, просто по своим делам. Женщина уперлась в его вытянутую руку, попробовала дотянуться до Антошки – хотя бы лицом и вдруг остановилась. Как будто опомнилась. Парень посмотрел в ее очки – уже не огненные, самые обычные. Бифокальные. Идите в библиотеку, Лера, сказал он спокойно. Там очередь, поди, собралась, а вы тут по коридорам бродите.

Женщина кивнула, точно поняла, – и, обогнув парня и больше не видимую ей Антошку, тяжело заковыляла по коридору, нестрашная совсем, глубоко несчастная, некрасивая и – в ближайшем будущем – немолодая. Клинический случай, диагностировал парень. Кто ее вообще на работу взял, не понимаю. А ты на экзамены, что ли?

Нет, сказала Антошка. Нет. Я просто так. Случайно сюда зашла.

И, расталкивая всех, побежала по коридору.

Это ведь был ты? Правда? Скажи, что это был ты.

Не говори глупости, Аня. В восемьдесят девятом я служил в армии.

И все равно. Это был он. Совершенно ясно, что он.

Антошка сразу поняла это, как только он появился в Шустриковой клинике. Шустрикова клиника. Это был жалкий компромисс, конечно, но без него Антошка точно бы не выдержала. Умерла. Прибиться хоть к какой-нибудь больнице. Просто быть рядом. Если не лечить самой, то хотя бы наблюдать. Танталовы муки.

Сперва она устроилась в Первую Градскую, санитаркой – на такую жалкую зарплату, что этим можно было даже гордиться. Чистое подвижничество. Подвиг духа. Может быть, даже схима. Мама, из которой вылупилась вдруг бойкая и горластая поклонница реформ, едва не сорвала горло, отговаривая, стыдя, возмущаясь. К тому времени она сама бросила идиотскую свою школу – но ради бизнеса, Антошка. Как ты не понимаешь? Ради бизнеса! Ведь такие открылись перспективы!

Отряхнув с ног прах ненавистой истории, мама склонила из бывших во всех отношениях коллег нелепую перелетную стаю, и теперь они мотались от одной границы к другой, приседая, кричтя, надрываясь, ворочая тюки и рассовывая взятки. Товар. Деньги. Угар. Клетчатые сумки. Турецкое и польское барахло, предвестник великого китайского. Своя точка на толчке – как высшее жизненное достижение. Примат человеческого разума над экономической материей. Из первого же своего бизнес-вояжа мама привезла папе кожаную куртку пузырем, Антошке – джинсы-мальвины, себе – семь разноцветных кофт из нежнейшей ангорки, богато расшитых простодушными бусинами и роскошным стеклярусом. Этакая «неделька» начинающего нувориша. Отец остался в своем архиве, погребенный тихими кипами никому теперь не нужных документов и бумаг. Сохранил преданность истории. Наверное, просто побоялся выйти наружу.

По вечерам они собирались за одним столом и молча, но отчетливо презирали друг друга. Посуду моет тот, кто не зарабатывает! – говорила мама, вставая. И папа с Антошкой сталкивались плечами возле раковины.

Потом маму ограбили, не на границе, правда, а недалеко от дома, в Красногорске – отобрали весь ее идиотский товар и очень крепко избили. Может, и что еще хуже, Антошка так и не смогла задать вопрос. Не решилась. Что такое насилие, она уже не спрашивала. Знала.

Выписавшись из больницы, мама лежала дома – и даже к стене отвернуться не могла, чтобы оплакать надежды, убытки, истаявшее, к чужим рукам прилипшее барахло. Трещины в ребрах. Сотрясение мозга. Шинированная челюсть. Распухший, черно-лиловый желвак, надежно укрывший глаз. Чужая женщина. Совершенно чужая. Слава богу, хоть молчаливая. Рулить сквозь стянутые проволокой зубы оказалось непросто. Антошка сноровисто ухаживала за ней, радуясь возможности применить все, что вычитала когда-то в толстой серой книжке «Общий уход за больным». Папа заглядывал в комнату, спрашивал робким шепотом – ну как там она? Втихомолку плакал. Что он еще мог? Больше ничего. Совсем ничего. Антошка кивала строго – все в порядке, не волнуйся. Ничего страшного. Санитаркой она к тому времени уже не работала – ушла. Не потому что мало платили – а потому что не пускали к больным. Вообще никак – даже лишнюю секунду во время обхода задержаться. Не говоря уж о задать вопрос или хоть словом перекинуться с врачами. Стоило ли влачить этот крест до самого конца? Мыть полы, тумбочки и ругаться матом Антошка прекрасно умела и без Первой Градской.

Поэтому, когда мама наконец поправилась, Антошка устроилась ресепшионисткой в клинику доктора Шустера. Долги за отобранный товар они отдавали еще года три, сбившись в отчаянную кучу, барахтаясь, напрягаясь, став наконец-то тем, кем считались все пустые прошедшие годы, – семьей. Отдали. Спасибо Шустрику – без процентов. Кстати, он первый понял и оценил Антошкин потенциал. Потому и ссудил новенькую, едва проработавшую три месяца, суммой, которая ей казалась запредельной, немислимой, словно возраст вселенной, а для него была – просто деньгами. Пять тысяч долларов. Господи. Да он на баб своих в месяц больше тратил!

Так по пятьдесят процентов из зарплаты у Пospelовой вычитаем ежемесячно? – уточнила бухгалтерша, мягкая, крупная, ленивая баба, совершенно безжалостная во всем, что касалось цифр. Шустрик пожевал толстую губу, вспомнил, как копил когда-то на велик, долго, усердно, старательно, героически отказываясь от пирожков, «Буратино» и кино, ощутил сладкий колючий вкус этого самого невыпитого «Буратино», и сквознячок от навеки пронесшихся мимо «Неуловимых мстителей» и распорядился – не надо фанатизма. Давайте по тридцать. Бухгалтерша пожала плечами, отметила что-то в ведомости, еще раз передернулась, словно блохастая. Как хотите.

Шустрик, может, и хотел бы по-другому. Но папа умер. Скоропостижно. Схватил себя на работе за пиджачный карман, ахнул – и все закончилось. Инфаркт. Они с мамой остались одни. Так что велика у Шустрика так никогда и не случилось. Только «мерседес». Но песок, как известно, плохая замена овсу.

Люди мы или нет? Ну конечно же люди.

Антошка была благодарна, видит бог. Очень благодарна. Не за деньги, конечно. Не только за них. За комнату отдыха, которую по невытравимой привычке называли ординаторской. Ординаторская была общая. Для всех. Антошка могла прийти туда в любой момент, налить из модного электрического чайника кипятка, сунуть в чашку модный чайный пакетик, посидеть накоротке с врачами. Послушать. Просто послушать. Мысленно дотронуться, примерить их невиданную удивительную судьбу. Иногда, очень редко – даже поговорить. К ней прислушивались. Она была вежливая, милая. Своя. К тому же – эксперт по психам. Здорово всех выручала.

Ты как вообще это делаешь, Антошка?

Нюхом их чуешь?

Она улыбалась смущенно. Благодарно.

Не знаю. Само как-то получается.

Только он ни разу не спросил.

Муж. Врач.

Ну и что?

Антошка все равно знала, что лучше него нету.

Ненаглядный. Вот какой он был. Ненаглядный.

Антошка долго не знала, как к нему подступиться. Да что там – просто посмотреть прямо – глаза в глаза. Да и никто, честно говоря, не знал. Высокий, отстраненный, Огарев быстро входил в ординаторскую, по-офицерски, как шинель, накинув на широкие плечи халат – самый обыкновенный, белый, простой, больничный. Обязательных для всех в клинике сине-белых костюмчиков не носил принципиально – вообще делал что хотел. Нет, неправильно – то, что считал нужным. Это была не самоуверенность, не фронда, не выпендрож – а спокойная и сильная вера в собственные силы. Только в свои. Ни в чьи больше. Антошка потом только сообщила – он же и правда был совсем один, ее муж. Врач. В больнице можно было позвонить в интенсивную терапию, собрать консилиум, спихнуть все на завотделением, на главврача, на кого угодно – сделать шаг назад, в конце концов, просто шаг назад за чужие спины.

В клинике Огареву не на кого было рассчитывать. Он был один. Никто бы не стал его выгораживать в случае чего. Никто бы не стал за него спасать. Принимать решение. Брать ответственность на себя. Разве что прибежал бы из соседнего кабинета перепуганный Шустрик или стоматолог, вальяжный, ароматный пройдоха, сколотивший на металлокерамике целое состояние, вечно разведенный, вечно в поиске новых амуров и зефирив.

Огарев был на самом переднем крае. На линии огня. Он не знал, кто войдет в его кабинет следующим – и чем ему можно помочь. Знал только, что помочь – необходимо. И методично, специализация за специализацией, накачивал себе новые навыки. ЛОР-болезни. Кардиология. Пульмонология. Гастроэнтерология. Эндоскопия. УЗИ. Шустрику пришлось здорово раскошелиться и на аппараты – те, что Огарев хотел, и на курсы – те, что он счел достойными собственной персоны. И лазеры, конечно. Лазеры – это было круто. Лазерная хирургия.

Огарев научился, конечно. Разработал собственную методику, еще одну. Потом инструмент – крошечный, изящный. Шустрик завопил ликующе – старик, надо срочно защищаться, патентовать это дело! И в Америку продавать!

Продавай, вяло разрешил Огарев. И защищайся. Я – не буду. Вылизывать старые седые задницы – это не по мне. Я же про науку говорю, возмутился Шустрик. Про большую науку! И я про нее, согласился Огарев.

Антошка, сидевшая тут же, в ординаторской, не выдержала, засмеялась. Не угодливо, нет. От радости.

Огарев повернулся. Посмотрел. Серые-серые глаза. Светлые ресницы. Морщины у твердого рта – ранние, заслуженные, взрослые. Седины бы еще для солидности – никто не хочет лечиться у молодого. Но нет – никакой седины. Высоко, по-военному, выбритая шея, открытый лоб и копной – теплое, мягкое, спелое, золотистое, чуточку самую венецианское, почти ржаное.

Антошка перестала смеяться.

Обиделся? Разозлился?

Но Огарев вдруг улыбнулся и еле заметно подмигнул.

Ей одной, господи! Ей одной!

Он был словно спрятан в самой глубине идеально отшлифованной ледяной глыбы. Видно отлично, но, как ни ощупывай, как ни прорывайся, ладони наталкиваются на гладкое, холодное, неживое. Теплел, только когда смотрел на пациентов. Да и то – едва-едва. Все остальное время стоял в середине непроницаемого невидимого круга. Совсем один. Антошка только однажды видела, как он засмеялся. И так и не узнала никогда – почему, над чем. Просто засмеялся и пожал руку своей пациентке – семилетней девочке, толстой, некрасивой, влюбленной в него до беспамятства, до дрожи, как сама Антошка была влюблена.

Все они пытались прорваться сквозь этот холод, этот лед. Заступить за границы страшного круга. Дружбы Огарева, его внимания искали коллеги, пациенты, здоровые, больные, всякие. Это было что-то нервное, конечно. Допрыгнуть до спрятавшегося в листве абрикоса, дотянуться. Сорвать. Пальцами хотя бы мазнуть по горячему боку.

Бесполезно. Слышите? Бесполезно.

Антошке помогла мигрень.

Остальным оставалось уповать на Бога.

Голова у Антошки начала болеть лет в пятнадцать – до дурноты, до рвоты, до слез. Приступ подкрадывался потихоньку, во сне, всегда одним и тем же – невидимые руки пеленали Антошку в гладкие полосы алой ткани, удивительно плотные, даже плотские – сыроватые, горячие, и в тот момент, когда Антошка понимала, что это действительно плоть – длинные куски сырого, слегка даже парящего мяса, – звонил будильник, и она просыпалась, разбитая, заплаканная, с пульсирующей, какой-то даже многогранной от боли головой.

Анальгетики не помогали. Горячая вода, массаж, даже животворные в своей бесполезности иголки Шустрика – тоже. Надо было просто потерпеть. Смириться.

Огарев вошел в ординаторскую, намешал себе кофе. Именно – намешал. На несколько ложек бурого гнусного порошка – немного холодного молока. И поел, и взбодрился. Удобно. Глянул на ссутулившуюся в углу Антошку. И еще раз – уже внимательнее. Она виновато подняла голову – я сейчас, Иван Сергеевич. Уже иду. Там пациенты, да?

Огарев отставил чашку, подошел, положил властную спокойную руку ей на затылок. Будто хотел запрокинуть. Поцеловать. Безошибочно нащупал у основания черепа крошечную нестерпимую точку. Тут? Антошка, стараясь не зашипеть от боли, кивнула. Боли напряжения. Сидите много. И все наперекосяк. У меня вся жизнь – наперекосяк, вдруг призналась Антошка, как будто священнику. Как будто можно было хоть что-то изменить.

Огарев приподнял осторожно ее лицо, оценил, прошелся пальцами по одному ему известным сочленениям и узорам. Но голова болит не поэтому. Не только поэтому. Он выудил из кармана футляр с отоскопом. Свинтил, никуда не торопясь, будто готовясь к бою. Будто собирая оружие. Первый час последнего дня войны. Тяжелый ребристый металл, повинующийся мужским пальцам. Птица, вскрикнувшая в пролеске, предчувствуя артподготовку.

Осень. Глина. Гильзы. Бинты.

Огарев снова дотронулся до Антошкиного лица – и она едва справилась с желанием поцеловать его руку. Такую теплую. Сильную. Простую. Руку, которая могла все. Понятно. Ничего страшного. Просто застой крови в крыло-небном сплетении. Будете принимать – Огарев назвал препарат, который она тут же забыла. И он сразу понял это, без слов, придвинул лист бумаги и удивительным, демонстративно разборчивым, неврачебным почерком записал. Вот. И не давайте боли разыгрываться. Принимайте сразу. Боль вообще не нужно терпеть. Это всего-навсего сигнал к действию.

Он уже забыл Антошку, немедленно забыл, словно ее тут и не было, вернулся к своему кофе, к своей книжке, он вечно таскал за собой книжки, урывая хоть минуту между пациентами – их все меньше становилось, минут, все больше страждущих толпилось в коридоре. А Антошка все смотрела – благодарно, с восхищением, с благоговением даже, словно не мужчина сидел перед ней, смертный, пропахший табаком, в безымянных джинсах из безымянного магазина, а сиял строгими доспехами молодой архангел, уже уставший сражаться с Богом, но еще не уставший любить. Все еще не переставший дарить надежду.

Боль отступала, без всякого препарата, уплзала, таяла – просто потому что он был рядом. Просто потому что был.

Следующие несколько недель Антошка проболела. Вернее, следующие несколько недель Антошка безостановочно врал, да что там – изовралась, как пятиклассница, не желающая идти на завтрашнюю контрольную. Симптомы гордились на симптомы, она жаловалась на

боль, тошноту, судороги, мушки и катышки, дошла до легендарного бабы-Машиного, из детства, – у меня вся тела болит. Лишь бы Огарев еще хоть раз до нее дотронулся.

Огарев сначала терпел, только приподнимал недоуменно брови, потом, пару раз уличив Антошку в очевидной лжи, стал прятаться – скрываться, тоже будто пятиклассник. Нырлял, завидев ее, в первый попавшийся кабинет, коридор, туалет. Ссылался на занятость, усталость, пациентов. Изю всех сил оставался вежливым. Корректным. Далеким. В пятницу вечером она его все-таки поймала. Прижучила. Улучила. Вошла последней в кабинет – после огромного приема, – прикинувшись пациенткой. Свои так не делали вообще-то. Свои – своим. Никогда.

Огарев поднял голову – такой уставший, что даже не сразу понял, что это она. Бедный. Не нахмурился даже – просто сразу весь как будто отвердел. Потом Антошка узнала, какой это, собственно, страшный признак. Грозовой. Спросил сухо – чего вы добиваетесь, Анна Николаевна? Вы же совершенно здоровы.

Он даже встать не успел, хотя и попытался, как она его перехватила – сильно, страшно, как настоящая сумасшедшая, уж она ли не знала, какие они сильные? Каждый – как сгущенный эпицентр ядерного взрыва. Я люблю вас, бормотала, я люблю, люблю, вы самый лучший, просто сами не знаете, а я знаю, знаю, никто больше не знает, только я. Антошка не замечала, что стоит на коленях и целует Огареву руки – все эти недели только об этом и мечтала, поцеловать ему руки, шершавые, красноватые от олигексаметиленбигуанид гидрохлорида и d-лимонена. Она сама заказывала на всю клинику дермасепт.

Огарев встал наконец, сумел подняться, оторвать ее от себя – держа на отлете. Почти на весу. Как взбесившуюся кошку. Или ребенка. Осторожно. Очень осторожно. А то укусит.

Сказал – успокойтесь, Аня. Это просто нервы. Людей много. Нагрузка большая. Шустрик загонял вас, как последняя сволочь. Вам надо начать принимать фенибут. Я выпишу. Не волнуйтесь.

Что принимать? – переспросила Антошка, жалкая, трясущаяся – нет, не помогло, конечно. Не помогло. Как она вообще могла надеяться?

Фенибут. Отличный препарат. Старый. Апробированный. Блокирует обратный захват нейромедиаторов. Серотонина...

Антошка вытерла слезы. Плакала, оказывается. Все это время. Ревела ревмя.

И норадреналина – да?

Вы медик? – Огарев посмотрел недоверчиво, словно на неведомой планете, среди комков говорящей слизи и лиловых сполохов, вдруг увидел человека разумного. Своего. Антошка вымученно улыбнулась – да какое там. Просто сочувствующий. Нахваталась там и сям. Знаете, как бывает?

Знаю, подтвердил Огарев. И просто спросил – экзамены в мед завалили? Да?

Антошка кивнула – и снова заплакала. Только уже тихо. Завалила. Всю жизнь мечтала стать врачом, Иван Сергеевич. Всю жизнь – и вот! Она развела руками – пустыми, никому не нужными, бездарными.

Ничего, сказал Огарев мягко. Фенибут еще не с тем справлялся. Я сам его после армии принимал. Отличная, скажу вам, вещь. Как будто в танке сидишь. Тихо, тесно, тепло. И глубоко плевать на все, что снаружи.

И стрелять можно? – восхитилась Антошка совсем по-детски.

Нет, сказал Огарев очень серьезно. Стрелять, к сожалению, нельзя. Пойдемте, я вас провожу. А то поздно. Еще на кого-нибудь по дороге накинетесь, чего доброго.

Не накинусь, сказала Антошка. Таких, как вы, больше нету. Вообще.

Кто бы мог противиться этому? Какой мужчина?

Спустя месяц они поженились.

Счастливейший из дней.

В клинике им преподнесли набор тефлоновых сковородок и фритюрницу. Огарев бегло осмотрел впопыхах снятую однушку – оштетиненную, жутковатую, как любое съемное жилье. Сказал – у меня одно условие, Аня. Только одно. Никаких детей. Антошка закивала быстро-быстро, как собачка, игрушечная, покорная, намертво приклеенная к поверхности, с которой ни спрыгнуть, ни вырваться, ни спастись. Никаких детей. Господи. Акушерство и гинекология. Да зачем они вообще нужны?!

Декабрь. Январь. Февраль.

Первый Новый год вместе. Первое двадцать третье февраля.

В первых числах марта она сидела в ванне, полной мутной воды, розоватой, нестрашной, кровавой, глотая такие же нестрашные, розоватые слезы и корчась от режущей, коле-режущей боли в пустом животе.

Хорошо, что сказать не успела.

Выкидыш. Головастик с полуприкрытыми глазками то ли ящерики, то ли хамелеона. Прозрачный насквозь. Крошечный. Окровавленный. Мертвый. Что в тебе было не так? Что завязалось не по правилам? Против твоей или нашей воли?

Огарев стукнул в дверь. Спросил – у тебя все в порядке?

Совершенно, милый. Сейчас выхожу.

Антошка вытерла насухо слезы, волосы, чресла, глаза. Живительным кипятком обдала ванну, смывая последние следы преступления природы против природы.

Уйди с миром. Все равно никто тебя не хотел.

Ушел. И больше не возвращался.

Второй Новый год. И третий. И четвертый.

Вместе. Рядом.

Понедельник, среда, пятница – с двух до восьми. Вторник, четверг, суббота – с десяти до двух. Каждый день – с вечера до утра.

Пусть это никогда не закончится. Пусть будет всегда.

Антошка потеряла виски – нет, это точно простуда. Ломает всю, выкручивает – медленно, никуда не торопясь. Пробует на зуб. Муж будет сердиться. Не любит, когда она болеет, – не жалеет, нет. Именно не любит. Посагательство царства вирусов на его личную жизнь. Антошка проверила запись у всех специалистов, не удержалась и погладила пальцем фамилию Огарев. Бедный, тридцать семь человек! Ничего, скоро домой. Она встала и торопливо пошла в ординаторскую – хоть чая глотнуть, а то, видит бог, не дотерплю. По дороге заглянула к вечно скупающей массажистке, хорошенькой, томной, мускулистой. Подмени меня, Тань? Я на полчасика. Дух перевести. Заболела, кажется.

Огарев тебя живо вылечит, завистливо промурчала массажистка. Только сперва убьет. Чтob ты ему статистику не портила. Но ты не переживай, мы его надолго вдовцом не оставим.

Антошка вымученно улыбнулась. Вот шалава. Так и вешается. Все они такие. Слава богу, хоть он – не такой.

Чашка чая. Аспирин. Десять минут полежать на диване. Глаза не закрывать, а то засну.

Старый, почти забытый сон навалился на нее – тугой, липкий, страшный. Длинные ломти сырого мяса, горячего, гладкого, стягивали тело, лицо, не давали дышать. Антошка вскрикнула испуганно, пытаясь вырваться, – и не проснулась. Провалилась еще глубже, в полную темноту. И в этой темноте плакал кто-то, тоненько, тихо, жалобно, совсем один, и все искал ее невидимую руку, искал, но никак не мог нашарить. Не мог найти.

Антошка села на диване, перепуганная, потная, совершенно уже простуженная. Больная. Сердце бухало то в запястьях, то почему-то в горле, которое саднило нестерпимо – словно кто-то провел по нему изнутри грубым, зернистым наждаком.

Антошка посмотрела на часы, ахнула и торопливо, на ходу, закалывая тоже простуженные волосы, побежала к стойке регистрации. Никакой массажистки там не было.

Вот зараза! По-человечески же попросила!

Антошка села на свое место, нашарила ручку, тетрадь, успокоилась. Это просто вирусная инфекция. Ничего больше. Не спи, Пospelова. Не спи. Ну? Улыбнулась. Встала. Здравствуйте. Вы к кому?

Из коридора клиники, словно вызванная этим вопросом, вдруг вышла девушка – на ходу застегивая пушистую, совершенно живую на вид шубку. Пуговицы катались у нее в пальцах, круглые, блестящие, радужные. Завораживающие. Антошка еле отвела от них взгляд – кто такая? Зачем пришла? Первичная? Повторная? Она отлично помнила всех пациентов – профессиональная привычка, от которой иногда очень хотелось избавиться. Десятки. Сотни. Тысячи чужих и ненужных лиц. Этого лица в картотеке не было.

Здравствуйте, вы к кому? – спросила Антошка с привычной вежливостью. Теперь уже вслух.

Девушка повернулась – и Антошка едва не ахнула.

Над головой у девушки стояла высокая, страшная корона совершенного безумия. Никогда такого не видела, господи. Со дня экзаменов в мединститут. Да нет, даже тогда...

Они несколько секунд смотрели в глаза друг другу, а потом девушка справилась с последней перламутровой пуговицей и, не говоря ни слова, вышла под отчетливый перезвон колокольчиков.

Никакие не колокольчики были на самом деле.

Ловец снов.

Страшная, демонская штукавина, которую простодушный Шустрик привез в качестве сувенира из Китая. Своими руками повесил на дверь чистопородное зло.

Ошиблась дверью, должно быть. Вторую половину особнячка занимала нотариальная контора – туда часто забредали сумасшедшие.

Железные колокольчики звякнули еще раз.

Мы к Ивану Сергеевичу Огареву!

Антошка прищурилась – нормальные. Слава богу. Совершенно нормальные. Отец, мать, сопливый насупленный шестилеток.

Ближайшая запись к Ивану Сергеевичу только через субботу. К сожалению, никак. К нему очень многие хотят.

Глава 5

Понедельник, среда, пятница – с двух до восьми. Вторник, четверг, суббота – с десяти до двух. Суббота – самый тяжелый день. Все не сумевшие прорваться сквозь пробки, отпроситься у босса, выкроить хоть часик на себя самого. Мамаши с детьми. Отдельная радость. Дети – нет, Огарев ничего не имел против. С детьми он умел – не сюсюкая, очень строго, просто. С уважением. Слово «больно» не произносил никогда. Честно предупреждал, что будет неприятно, но недолго. Советовался в сложных случаях – что скажете, коллега? Давайте вместе посмотрим снимок. Включите, пожалуйста, негатоскоп. А вот это пульт. Кресло поднимите, будьте любезны. Вот этой кнопкой. Достаточно. Да, вот так. А теперь открываем рот. Показывал, сложив ладони, как именно – кошачью зевающую пасть. Улыбались робко, сквозь отступающий страх. Синева под глазами. Одутловатые мордочки. Вялость. Бледные городские личинки. Дети подземелья.

Огарев любил не узнавать их через полгода или год – когда вместо картофельного проростка в кабинет вдруг вбегал расцарапанный щекастый человечек. Здоровый. По глазам видно, что здоровый. Мучает кошку, ворует варенье. Растет. А мы всю зиму не болели, Иван Сергеевич. Вот, решили показаться на всякий случай. Радость. Это была радость, конечно. Но – редкая. Очень редкая. Большинство, вылечившись, исчезали навсегда.

Мамаши – другое дело. Одна нормальная на сотню, а то и на две. Остальные были откровенно помешанные – на народной медицине, китайском иглоукальвании, здоровом питании, на самом Огареве. Эти были хуже всего. Доктор, вы наша последняя надежда! С каким-то невыносимым подлым подвывом, словно дворняга из Малого императорского театра. Его бы воля – сразу после этой фразы выгонял на улицу. Без права переписки. Навсегда. Те, у кого Огарев действительно был последней надеждой, все больше молчали. Цеплялись за писк аппарата, словно за страховочный канат, натянутый над смертью. Из всех сил пытались не соскользнуть. Они не надеялись, нет. Разве что на Бога. Иногда Он даже учитывал это, подводя под уравнением аккуратную черту. Съедено, выпито, выстрадано за четверых. Вон тому, с шестого столика, счет, пожалуйста.

Еще одна неприятная категория – онажемать. Единственное достижение – сляпанный (часто на скорую руку, случайно) младенец, основная цель и назначение которого – оправдывать ничтожный смысл онажематериной жизни. Наглая, безапелляционная и трусливая одновременно. Я сама знаю, что нужно моему ребенку! И еще – а в интернете написано! Огарев опускал глаза, мысленно считал до десяти. И еще раз до десяти. Медленно. Очень медленно. Только ради твоего несчастного детеныша, дура. Которого ты не отрываешь от бессмысленной сиськи до пяти лет, уродуя ему прикус, пищеварение, психику, целую жизнь. Онажематери отлично, на пять с плюсом, умели только одно – ненавидеть. Родню, работу, целый мир. Проклинали антибиотики, не признавали прививки, дремучие, злобные, те же, что несколько сотен лет назад проталкивались на площади поближе к лобному месту – все увидеть, ничего не упустить, насладиться в полной мере. Огня, жги его! Жги! Обдирай заживо!

Поначалу Огарев пытался честно объяснить – вы делаете хуже своему ребенку, поймите. Нельзя не прививать от дифтерии, полиомиелита, от столбняка. Это слишком страшная смерть. В самых скверных случаях вы будете умолять, чтоб она поскорей наступила. Нельзя не давать антибиотики – у ребенка средний гнойный отит, идиотка! Через несколько часов будет мастоидит, воспаление сосцевидного отростка височной кости. Гной прорвется в область черепа, и мозг ребенка просто сварится. Менингит. Абсцесс. У меня умирал такой в отделении. Еще сутки назад – пухлый смысленный трехлеток. Как ему было больно, господи! Как больно! Вот, взгляните на снимок – это пневмония, еще сотню лет назад она уносила на тот свет быстро, за неделю, теперь ваш ребенок будет поджариваться медленно, долго, на слабом, еле видимом и

оттого куда более страшном огне. Безмозглые курицы, они кивали, затянув пустые глаза беле-сой, бессмысленной пленкой. Ничего не понимали, не хотели понимать. Деды наши небось были не дураки. Антибиотиков не знали. Деды ваши доживали до года через одного! На пер-вый-второй рассчитайся. Вот ты, ты и ты – шаг из строя. Вы – покойники. Умерли, все. От гло-точной, крупа, чахотки, антонова огня. Помайлись брюхом – и окочурились, пополнив собой безучастную статистику. Может, и слава богу? Естественный отбор.

Огарев вспоминал всех, кто положил жизнь на то, чтобы победить этот самый есте-ственный отбор. На то, чтоб дети жили. Годы работы на ощупь, по наитию, пустые надежды, насмешки коллег, осатанелая толпа. Ату, ату его! Медленная мучительная эволюция шамана в знахаря. Знахаря – в лекаря. Лекаря – во врача. Врача – в человека. До учебников добрался едва ли десяток имен, остальные умерли безвестными, но все-таки на шагок продвинули медицину вперед. На целый шагок. Вся жизнь, проведенная среди рабов и невежд. Ради рабов и невежд. Несправедливое служение. Единственно возможное из всех. Единственно важное. Когда Ога-рев озверевал от усталости, от неблагодарной глупости тех, за кого приходилось сражаться, он думал про Лоусона Тейта и Паре. Про Листера и Пастера. Про несчастного затравленного Земмельвейса. И еще про мальчика, которого убил. Перерезал очередь 3 июля 1989 года. Мальчик никуда не исчез. Всегда был рядом. Если бы не он, Огарев давно бы бросил медицину. Перестал быть врачом.

В сущности, он вообще никогда не хотел быть врачом. Просто у него не было выбора.

К счастью, по-настоящему клинически чокнутых еще на подходе отсеивала Аня. Хоть в этом Огарев был уверен. Что ни один настоящий псих не войдет к нему в кабинет. Только психов ему еще и не хватало.

* * *

Маля пришла в субботу. Тридцать вторая в очереди на прием. 22 октября 2011 года. 13:30. Персональная нумерология врача. Отрывной календарь усталости. Хребет ломит так, что хочется выть, как когда-то набоковской Зине Мерц. Огарев встал, хрустнул шейей. В кори-доре – еще шестеро. Нет, лучше не курить. Потом. Он открыл дверь, мазнул глазами по оче-реди, машинально отметил, что двое из шестерых – первичные, значит, сожрут вагон времени, остальных раскидаю быстро. Полипы, еще полипы, послеоперационное ТО, старуха Заклецкая вообще здорова. Просто скучает без разговоров о прекрасном. Прижимает к животу какую-то книгу, улыбается радостно, словно заговорщик, юный, восемнадцатилетний, бессмертный корнет, мечтающий, что его расстреляют на рассвете. Опять откопала что-то в покойных кни-гах покойного мужа, бедная. Здравствуйте, Ираида Яковлевна. Еще немного подождите, пожа-луйста, хорошо? Следующий.

Встала девушка – Огареву показалось, девочка совсем. Подросток. Вошла в кабинет, оглянулась с любопытством. И без всякого страха. Хорошенькая. Хотя нет – просто миленькая. Вздернутый нос, сбрызнутый еле заметными веснушками – как будто кисточку акварельную стряхнули. Светлоглазая. Волосы великолепные – это да. Почти рыжие, густые, с драгоценной золотой подпушкой у лба и на висках. Крупные завитки до самых лопаток. Кудрявая. Как мама когда-то. Пока не постриглась. Огарев вдруг понял, что 19 октября было два дня назад. Мама умерла 21 год и два дня назад. А он забыл. И Аня забыла, конечно. Ей вообще незачем помнить.

А вот интересно – вспомнил ли отец?

Нет. Разумеется, нет.

Никому не нужная могила. Едва заметный меловой след на почти начисто вытертой доске.

Девушка огляделась еще раз и улыбнулась. Здорово у вас, сказала она с удовольствием, словно Огарев пригласил ее в гости похвастаться новым ремонтом или старой библиотекой –

и оправдал ожидания. Девушка была совершенно здорова на вид – даже неприятно здорова. Плотный серый сарафан, черная водолазка, тугие колготки – все круглое, сильное, налитое. Цветущий подросток. Хороший аппетит. Если не перестанет лопать на ночь пончики, очень скоро превратится в тыкву.

Где ваши родители?

Девушка растерялась, Огареву даже показалось – испугалась, как будто он безошибочно нащупал чувствительную точку, которую она старательно скрывала от других. Родничок. Открытое место. Никак не защищенный вход внутрь. Не больно, нет. Просто есть. Именно поэтому и страшно.

Родители? Мои?

Дети до восемнадцати лет могут приходиться на прием только в присутствии родителей. Мне очень жаль. До свидания.

Она засмеялась и – без приглашения, совершенно свободно – села в смотровое кресло. Поболтала ногами – вот ноги красивые, безусловно. Сильные. Узкие шиколотки. Замшевые короткие ботики на блестящих пуговицах. Ловкая попытка дизайнера ввернуть в мультикультурный контекст девятнадцатый век.

Если бы вы были бармен, я бы решила, что вы напрашиваетесь на хорошие чаевые. Мне уже двадцать четыре. Могу паспорт показать.

Обычная хамка.

Огарев с трудом подавил желание выставить ее вон – два часа с последней выкуренной сигареты, суббота, тридцать второй пациент, полчаса до конца приема, а в коридоре еще пятеро, ему только хамок не хватало, но с хамками он, слава богу, научился разбираться, когда эта девчонка еще куклам своим ноги не умела отрывать. Даже осматривать не буду. Надоела. Все надоели хуже горькой редьки. Устал. Ключи могу передать Швондеру – пусть он оперирует.

Не сердитесь, сказала она. Пожалуйста. Я не хотела вас обидеть. Просто брякнула глупость. У меня это запросто – глупости брякать. Она снова засмеялась, уселась поудобнее – круглая ямочка на щеке, уютный дефект большой скуловой мышцы. Поцелуй ангела.

Вы курить, наверно, хотите. Я тоже, если долго не курю, ужасно злюсь.

Огарев поморщился. Что-то было не так. Не хамка – нет. Видимо, просто восторженная дура – таких среди пациенток тоже было, к сожалению, хоть отбавляй. И если хамству можно было найти какое-то теоретическое оправдание – в конце концов, многие просто боялись: боли, смерти, жуткого диагноза, инструментов, ледяных, спокойных, безжалостных, и страх этот, прорываясь с беззвучным криком наружу, превращался в тупую агрессию, – то к дурам нельзя было применить даже эти человеческие мерки. Помните? Тупости взгляда, прощяемой прелестным, влажным глазам, неизбежно соответствует недостаток до тех пор скрытый, тупое выражение груди, которое простить невозможно. Дуры были просто дуры. Типичная московская разновидность. Уютная жежешечка, сумочка, машинка, мимими. С разной степенью достоверности притворяется умной, сострадательной, тонкой. Живой. Кушает (*sic!*) в *Delikatessen*, постит котиков, участвует в протестном движении. При виде самца, пригодного к финансированию, крутится, хихикает, верещит.

Чушики, чушики. Не фонит.

Сюда пересядьте, пожалуйста. К столу.

Снова растерялась, как маленькая. А я думала – вы меня тут будете смотреть. В кресле. Все мое время.

Огарев совершенно успокоился. Открыл новый файл – электронные медицинские карты он вел уже лет десять, бедный айфончик еще «Твиттер» не освоил, а у Огарева уже была идеальная электронная база данных пациентов. Ему не на кого было надеяться, кроме себя. Айфончику, впрочем, тоже. Но айфончик, по крайней мере, мог управлять временем. Огарев даже сквозь жалюзи чувствовал, что за окном начинает темнеть – московская осень, мга,

холод, грязь. Ближайшие полгода в жизни не будет ничего хорошего. Дальше – тоже. Отменить в таком климате переход на зимнее время – это был лучший способ войти в историю, брякая шутовскими бубенцами. Еще дальше от Европы, от всего мира. На пару тысячелетий, на несколько часов. Бедный маленький человечек. Почти ровесник. Испуганный, как и все мы, навсегда. Навек.

Ваше имя?

Маля. То есть, конечно, не Маля, а Алина. Вы только подумайте – Алина! Гадость какая! Как будто варенье прокисшее подлизали. Разве можно жить с таким дурацким именем? Совершенно нельзя. Маля и не стала, переделала детскую Алинку-малинку на свой лад, как вообще все и всегда переделывала. Обрывала тесемки и припевы, отворачивалась от экрана, зажмурившись – все? Его больше не бьют? Ты скажи когда, ладно? А то я не хочу. Не выносила никакого насилия, жестокости. Совершенно не выносила. Высокое толстовское чувство. Не сопротивление злу. Его физическое неприятие. А вот вещи – пожалуйста. С вещами делала все что хотела. Едва познакомившись с платьем, брала ножницы и отрезала не задумываясь то, что считала лишним, вытягивала из комодного своего вороха ленту, платок, брошку, раз, раз – и ей вслед оборачивались. Даже женщины. Огарев не сразу, но понял – почему. Она была свободна. Совершенно свободна. Маля не хотела быть ни богатой, ни знаменитой, она хотела просто – быть. И в зажатой, изуродованной Москве, где все либо изображали свободу, либо напролом, всеми способами к ней рвались, это было даже не странно. Ненормально. И оттого производило особенно сильное впечатление.

Маля, кстати, действительно оказалась здорова – просто самое начало простуды. Горло болит. Это ангина, да? Огарев привычно объяснил – нет, ангину надо еще заслужить. А это дело непростое. У вас самый обычный насморк... Маля смотрела непонимающе, но с любопытством, как кошка, которая надеется, что вот эта забавная бумажка (на самом деле очередное письмо из банка, заляпанное угрожающими выкриками – просрочено, долг, штраф) сейчас превратится в бантик, зашуршит по полу на очень интересной нитке, запрыгает смешно. Все было повод для игры. Даже долговая квитанция. Даже насморк. Огарев вдруг расхотел вдаваться в неаппетитные объяснения – отделяемое из носа стекает по задней стенке глотки, раздражает слизистые, отсюда першение в горле и боль. Просто написал на листке названия капле. Вот эти столько-то раз в день. Эти – столько-то. Она не нравилась ему все-таки, эта пациентка. Нет, не нравилась. Беспокоила. Что-то в ней было не так. Только Огарев никак не мог понять – что именно.

Он понял только в машине, вырывая на намертво забитое Третье кольцо. Пробки теперь были даже по субботам, тьма накрывала Ершалаим все быстрее, скоро город просто сожрет себя сам. Все это чувствовали. Но все покорно сидели на месте, да что там сидели – ежедневно прибывали все новые и новые замороженные жертвы. Что привлекает вас в нашем городе? Коррупция? Безработица? Преступность? Забавный фильм. Надо как-нибудь пересмотреть. Жаль, Аня не любит кино. Она сидела рядом, загибала пальцы, еле слышно бормоча. Челка, нос, углы рта – сплошные пересекающиеся прямые. Тоже устала до чертиков, конечно. Только у него на приеме было тридцать восемь человек. А всего в клинике? И каждому улыбнуться, уточнить, проверить запись, указать кабинет, напомнить, проводить. Обслуживающий персонал. Нет, не так – обслуживающий персонаж. Никому никогда нет дела до того, что у него внутри. Даже ему самому. «Ленор», инспектировала Аня воображаемые сусеки, «Тайд», мешки для мусора точно закончились... Никак не может остановиться. Не в силах побороть собственную святость. Быть лучше всех! Соответствовать идеалу. Доктору Огареву И. С. Ему одному.

Огарев библикнул черному седану, дерзко шмыгнувшему прямо ему под бампер. Такое ощущение, что «ауди» продают исключительно идиотам. Никто так не хамит на дорогах в Москве, как «ауди». Больше – никто. Лучше всех, кстати, ведет себя представительский класс. Баснословной стоимости триумфальные колесницы. Персональные водители, свежие сорочки,

стальные яйца, седые виски. Они действительно хорошо водили, эти мужики. Вежливо. Спокойно. Понимали, чего стоит царапина на сверкающем боку хозяйской тачки.

Ты очень устал? – вдруг спросила Аня.

Огарев пожал плечами.

Терпимо. Тридцать восемь человек.

Тридцать семь, поправила Аня. У меня все ходы записаны.

У меня тоже, откликнулся Огарев. Тридцать восемь. А что?

Ничего. Просто в «Ашан» бы заехать. У нас практически вся химия вышла. А мне стирать. И еще к родителям. Месяц уже не были. Сегодня? Или завтра?

Она посмотрела на Огарева виновато и умоляюще – как будто он был бог, нет – даже Бог, и она отвлекала его своими дурацкими мольбами, жалкими человеческими просьбашками как минимум от сотворения мира. Прости меня, Господи, что лезу со своим «Тайдом», но куда же деваться, надо стирать! Двойное принуждение. Аня отлично знала, что он и так бы не отказал. Но вымолить было слаще. Обратиться в свою веру. Аня просто не могла без жертв.

Завтра, буркнул Огарев.

«Ашан»? Или к родителям?

Повешение или четвертование?

Камень или ножницы? Бумаги, извините, сегодня в продаже нету.

Выбирать должен был он. Всегда – он сам.

Это раздражало неимоверно.

Огарев все понимал – Аня не хотела давить, наоборот – хотела дать ему возможность побыть мужчиной, сделать самостоятельный выбор, решить самому. И именно потому давила невыносимо – наклонялась, как мамаша, контролировала каждый шаг, совала к лицу ложку с манной кашей. Ты у меня самый сильный, самый лучший, самый-самый. Ты – сам! Можно было, конечно, завизжать, вырваться, плюнуть этой кашей в лицо, можно – но бесполезно. Она бы все равно не перестала его любить. А он бы – не начал. Когда твоя жена права всегда и во всем, с этим нельзя справиться. Вообще нельзя. Даже развестись невозможно. Все равно проиграешь.

Аня кивнула, деликатно переваривая его молчание. Молчание ягнят. Молчание волков. Что бы Огарев ни выбрал, она все равно победит – маленькая, крепкая, деловитая жрица, сидящая у сияющего постамента своего бога.

Огарев перестроился, потом еще раз, цепко держа глазами сразу все зеркала, вот тот болван сейчас завалится в наш ряд, не включая поворотники, ну точно – здравствуйте вам, ты слепой, мужик? Или просто без коры головного мозга? И вдруг понял, что было не так с сегодняшней пациенткой. Она его видела.

Не доктора Огарева Ивана Сергеевича или даже просто – доктора, безымянную силу, набор навыков и инструментов, белый халат, голос, диагноз, назначения, которые следует выполнять. Часто пациенты не узнавали его вне кабинета – словно переставала действовать какая-то магия. Еще хуже – если узнавали, не давали выдохнуть, спрятаться, притвориться обычным человеком. Могли подойти где угодно – на улице, в магазине – жалуясь, стеная, словно средневековые пилигримы, без стыда обнажающие язвы перед обалдевшим святым, который, черт подери, всего-то и заглянул в кабачок, чтобы подкрепиться похлебкой с требухой да квашеными огурцами. Нищие. Рубище. Гноище.

Никому не нужен был сам Огарев. Белый халат словно превращал его в невидимку.

Но эта девушка в сером сарафане – она его видела.

Именно его.

Смотрела на него – как на человека.

Огарев вдруг остро ощутил микроскопический порез на щеке – подсохшая ранка, коричневая корочка, бритве давно пора на свалку истории. Завтра же куплю новую. Аня как раз

собиралась в «Ашан», гори он огнем. Аня тоже. Аня и убитое «Ашаном» воскресенье. Уж лучше бы к ее родителям, честное слово. Но это в следующее воскресенье. Огарев перестроился еще раз, чувствуя, как напрягаются мышцы. Тонкий свитер под расстегнутой курткой, грудная клетка под свитером, шрам на запястье, заштрихованном светлыми волосками. Стопа, упруго нажимающая на подошву, подошва, опускающая педаль.

Он был живой. Мужчина сорока двух лет. Крепкий, несмотря на две ежедневные пачки сигарет и выжигающий изнутри огонь. До старости было невообразимо далеко – как до смерти. Смерти – не было вообще.

Это было невероятно.

Огарев ударил по тормозам и засмеялся. Аня мотнула испуганно головой, вцепилась обеими руками в ремень безопасности.

Осторожнее! Ты что, не видишь?!

Огарев – видел. Теперь – точно видел.

Он думал про Маю целую неделю. Точнее – время от времени вспоминал, как вспоминают важное, очень важное, но единоразовое событие, которое с каждой секундой все дальше и дальше уносит в прошлое. Первый поцелуй. Первая драка. Первая женщина, которая увидела меня самого. Вернула мне ощущение собственного тела. Никогда не вернется. Но можно покатасть хоть немного в памяти – словно стеклянный шарик в пальцах, ощущая праздничную гладкость, сияние. Праздник, который всегда с тобой.

Но она вернулась через неделю – уже совершенно здоровая, на плановое ТО. Села в кресло. Распущенные волосы. Теплые, с переливом, живые. Драгоценные. Как мех. Огарев полюбовался несколько секунд, отдыхая. Он снова устал дальше некуда, да нет – даже больше. Аня нехотела простыла, фильтровать первичных было некому, и вот пожалуйста – трое чокнутых за один прием. Поэтому – еще секунда. Чистое удовольствие. Он заслужил. Просто стоять – и смотреть. Сама не знает, какая красивая. Как кошка.

Волосы, конечно, прекрасные, Алина Викторовна, но придется их убрать.

Маля ничего не ответила, только опустила голову ниже, еще ниже. Как перед казнью. Как будто тоже понимала уже – что к чему.

Огарев подошел, поразительно остро чувствуя себя самого – и сидящую в кресле молодую женщину. Ее тепло, запах – плотное сияние, стоявшее вокруг. Маля вся была в коконе этого тепла и аромата – лопнувший от спелости полосатый арбуз, горячие персики, помидорная ботва, срезанная крепкой тяпкой. Полдень. Август. Бродить по саду. Слушать, как падают яблоки. Целоваться.

Он откинул волосы с ее шеи – тяжелые, мягкие. Еле удержался, чтобы не погладить. Кошка и есть. Выгнет спину, не просыпаясь. Потянется. Заурчит.

Голову поднимите, пожалуйста.

Она запрокинула лицо, доверчиво, не открывая глаз.

Под пальцами впервые были не лимфоузлы, не сочленения, не воспалительный процесс – жизнь. Он столько лет дотрагивался до других только для того, чтобы исцелить. Совсем забыл, как это бывает. Карточный домик, который Огарев так заботливо составлял, подгоняя одну шаткую плоскость к другой – работа, квартира, счета, кредит за машину, обязательства, обстоятельства, мечта об отпуске и ипотеке, тоже картонный супружеский секс – все дрогнуло и застыло в воздухе, ожидая решения.

Круглое розовое ухо. Смешное, с неправильным забавным завитком. Небольшая простудка матери в первом триместре беременности, волнения, чай с малиной, никаких лекарств, это повредит малышке. Все, слава богу, обошлось. Родилась здоровенькая. Закричала сразу – сердито, требовательно. Чего застыли? Жрать давайте поскорей!

Огарев отложил отоскоп. Еще раз дотронулся онемевшими пальцами до Малиной шеи. Попрошайтаться. Выкинуть из головы. Морок. Безумие. Это твоя пациентка. Не человек. Не женщина. Просто пациентка. Пошлость какая, господибожемой.

Вы совершенно здоровы. Капли можно больше не принимать. До свидания.

Маля открыла глаза – и он отвернулся так быстро, что не успел заглянуть. Увидеть. Светло-карие? Зеленые? Нет, кажется, светлее.

Повторил, не оборачиваясь, – вы можете идти.

Маля не шевельнулась даже, только попросила тихо – пожалуйста, пригласите меня пить кофе. Я бы сама пригласила, но вы же не пойдете. В Москве ужасный кофе, но я знаю, где варят почти неплохой. Вы ведь пьете кофе?

Десятки одержимых дур, норовивших залезть ему в штаны прямо в кабинете. Звонки, приглашения на свидания, угрозы, страстный рык, наигранные слезы. Старый как мир тендер. Бессмысленное влечение. Любой педагог, любой священник или врач прошел через это горнило – психопатки, норовящие схватить тебя за член, чтобы хоть так добраться до Бога, запретного и недоступного. Иногда я с уважением думаю о кастрации. С нежностью – о целибате.

Нет. Я не пью кофе с пациентками.

Но вы же сами сказали, что я здорова.

Тем не менее.

Огарев подождал, пока закроется дверь.

Три тысячи двести семь пациентов в базе данных. Простуженная жена. Пробки. Путин. Съёмная квартира. Системно чужой город. Системно чужая безрадостная страна.

Нет. Нет. И еще раз – нет.

Следующий!

Из клиники он вышел в итоге почти в пять. Прием получился вязкий – с тремя опоздавшими (ну пожалуйста, доктор, мы всего на десять минут задержались!) и яростным спором с Шустриком, который был возмущен – да! возмущен! – тем, что Огарев отправляет пациентов к чужому гастроэнтерологу, когда у нас свой собственный сидит. Через кабинет, между прочим, от тебя. Я отправляю пациентов к хорошему гастроэнтерологу, а не к чужому. Возьми на работу хорошего – буду перекидывать к нему. И не ори на меня. Сам не ори.

Было темно практически – господи, практически уже темно. Где-то в мире, в другом его измерении, еще сидели на открытых верандах, шурились на уходящее солнце, набрасывали на плечи любимым полотняные легкие пиджаки. Танцевали, посапывая, мулатки, двигая дивными бедрами в характерном, незабываемом, узнаваемом, бродском ритме. Смеялись беззаботно. Но Москва уже почти погрузилась во мрак.

Почему тут так холодно, Господи? Когда я разлюбил эту бедную землю? За что должен был выбрать именно ее?

Огарев, закулив на ходу, нашарил в кармане брелок, пикнул сигнализацией – и, словно вызванная этим звуком, из сумерек вышла продрогшая Маля. Мелкая сияющая морось в волосах. Бессмысленный, ничего не согревающий шарфик. Даже губы посинели. Бедная. Она держала в руках коробку из «Старбакса» – с шестью большими нелепыми одноразовыми стаканами.

Я не знала, какой вам понравится. Есть даже без кофеина. Хотите без кофеина? У них хорошие стаканы, с термоизоляцией. Все горячее еще.

И – без паузы, скороговоркой – это же просто кофе, Иван Сергеевич. Не гоните меня, пожалуйста. Это же просто кофе. Ну хотите, я на землю поставлю и на два шага в сторону отойду?

К декабрю они уже встречались ежедневно. Кофе, начавший их частную историю, словно сразу задал тон и аромат всему. Кофейни, кафешки, кафе, кафетерии, закусовые, бутерброд-

ные, блинные. Грустный романно-гастрономический тур, знакомый каждому ступившему на неверную дорожку любви и обмана. В рестораны не хотелось, в музеях было слишкомлюдно, на улицах – чересчур холодно. Не показываться дважды в одном и том же месте. Не звонить друг другу. Не отправлять смс. Они часами просиживали над двумя нетронутыми чашками, подсыхало пирожное на ее тарелке, подсыхал унижительный смертный пот у него на спине. Говорили. Говорили. Он говорил, конечно, – хвастался бесстыдно, бессовестно, так, что и сейчас невозможно вспоминать. Токовал, повинуюсь биологии. Разворачивал до предела, до хруста, роскошный несуществующий хвост. Уверял – и сам верил, что лучше всех. Маля улыбалась, тихо подсвечивая невзрачный мир вокруг. Огарев мысленно поправлял прядь волос, удравшую из ее прически, протягивал руку, ронял, отворачивался без сил. Еще кофе? Нет, спасибо. Все-знающие московские официантки переглядывались – он явно женат, она – безголовая дура. Поматросит лет пять – и, выпотрошив, выкинет на помойку. Обыкновенная история.

Огарев морщился, прикладывал к счету купюру. Пойдем? Маля вставала доверчиво. Конечно, пойдем. Он подавал ей шубку – и это каждый раз было настоящее волшебство, потому что шубка все не заканчивалась, не заканчивалась, а Маля все не начиналась и не начиналась, и вдруг – всегда вдруг – он чувствовал ладонями ее плечи. Неожиданно сильные. Она была сильная. Огненная – так, что прошибало даже сквозь мех. Единственное доступное прикосновение. Еще поддержать под локоть на скользком тротуаре. Все. Честное слово – это было все. Они даже не поцеловались еще ни разу. Ни разу еще не.

Огарев и подумать об этом не мог.

Он уже исчерпал до дна свои скромные способности ко лжи, объясняя дома бесконечные отлучки. Мале врать не смог – на первом же свидании сказал – я женат. Ну и что? – ответила Маля спокойно. У всех есть прошлое. Как будто аккуратно смахнула невидимую Аню со стола. Как колючую крошку. Огарев так не мог. Черт. Они ведь с женой работали вместе. Вместе в клинику, вместе – домой. Это была отдельная пытка – лгать Ане. Недоговаривать. Выворачиваться. Хуже даже, чем пытка. Он сам был должен все это прекратить – но не мог. Просто не мог. Никто бы не понял. Не поверил, что это не кризис среднего возраста, не гон стремительно убывающего тестостерона, Малины двадцать четыре года нравились Огареву меньше всего, они вообще не имели значения. Сама мысль о том, что кто-то может подумать об этой любви плохо, выворачивала, не давала жить. Аня ничего не подозревала. Совсем ничего. Один раз ночью он обнял ее, рывком прижал к себе, бормоча – Маля, маленькая моя. И проснулся, перепуганный, униженный, с полной горстью своей вздыбленной жалкой зудящей страсти, своего страха, своего стыда. Аня даже не шелохнулась. Спала.

Огарев встал, зажимая рот, – и еле добежал до подслеповатой спросонья ванной. Его вырвало – дважды, горькой белесой пеной, как взбесившегося пса. Сердце колотилось, прыгало за грудиной, смешивая все диагнозы в один. Вот так и случаются ранние инфаркты – от невозможности сделать выбор, от самого выбора, от того, что – что бы ты ни выбрал – все равно придется жалеть. И только в самом лучшем случае – самого себя. Абсолютная тупость сердца, вспомнил Огарев и впервые в жизни вдруг посочувствовал отцу. Да, несладко тебе пришлось, бедняга. Если бы здесь еще был ребенок, мой ребенок, я бы точно удавился.

Огарев выкурил сигарету на черной холодной кухне – съемной, бездушной, как они ни старались – все равно ничьей. Аня доверчиво спала в комнате, завернувшись в одеяло, не подозревая ни о чем. И за эту доверчивость, за тихое дыхание, за то, что она была не Маля, – ее хотелось убить. Огарев вернулся, лег, стараясь не скрипнуть ни пружиной, ни суставом. Диван заметно перекосялся на один бок, словно сам подкатывал его к жене, пытался прилепить, чтобы стали двое единая плоть. Ерунда. Под одну из ножек просто засунута сложенная картонка, Аня сто раз просила съездить и купить новый диван. Сто раз. Он не слушал. Не слышал. Не замечал. Не все ли равно, на чем спать, если это не дом, а всего-навсего место для ночлега. Логово, не больше. Место, куда нельзя принести даже большую лапу.

Осенний крупный дождь стучится у окна, обои движутся под неподвижным взглядом. Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она с тобой рядом? Из окна, из какой-то невидимой, тоже никем не любимой щели (наверняка Аня просила, наверняка я снова ее не услышал) потянуло холодком, длинным, тонким. Как будто кто-то провел у самого горла, не дотрагиваясь, опасной бритвой. Огарев съежился, не решаясь ни придвинуться к жене, ни представить себе Малю. Он был совершенно один – как перед смертью. И никто, никто не мог ему помочь. Все надо было сделать самому. Абсолютно все. Аня повернулась во сне – и безошибочно положила легкую ладонь прямо ему на сердце. Заявила свои права. Бросить ее было все равно что оставить на улице, у мусорного контейнера, годовалого, круглоголового, немного еще пока, бестолкового ребенка. Просто невозможно. Бросить Малю было еще хуже. Все равно что убить того же самого ребенка. Взять и... Огарев вдруг почувствовал, что плачет – все теми же неотвязными стихами Жоржа Адамовича. О том, что мы умрем. О том, что мы живем. О том, как страшно все. И как непоправимо.

К Новому году он похудел так, что Шустрик, проносясь мимо по коридору, вдруг затормозил, вернулся и, взяв Огарева за пуговицу на халате, испуганно спросил – ты в порядке, Сергеич? Огарев не ответил – соображал, что придумать на этот раз, чтобы вырваться вечером к Мале. Хоть на тридцать минут. Хоть на секунду. Просто постоять рядом. Декабрь выдался ненормально теплый, раскисший. На тротуарах стояли лужи, полные достоинства, тихие – но, в отличие от весенних, ничего не отражали. Даже неба. Маля сменила шубку на пальто какого-то удивительного, теплого цвета – сливочного. Огарев, прежде не отличавший креп-жоржет от креп-дерюги и на женские наряды никогда не отвлекавшийся, с умилением вспомнил мягкую и пушистую ткань, щекодавшую ладони. Круглые, как конфеты, пуговицы, тонкие каблочки. Лужа. И еще лужа. Ну вот! И еще одна! Огарев, чувствуя себя живым, молодым, счастливым, подхватил Малю на руки – и прошел по московскому переулочку, по щиколотку в ледяной королевской грязи. Подвиг Уолтера Рэли, старый как мир и такой же глупый. Чтобы любимая не замарала башмачков. Маля смеялась – тяжеленькая, как закутанный в зимнее ребенок, и пахла яблоками, обещая тихо приближающийся, но еще далекий-далекий мороз. Вот Аня ничем не пахла. К черту Аню.

Невыносимо это все. Просто невыносимо.

Шустрик, не на шутку перепуганный, перетаптывался рядом. У тебя ничего не болит, старик? А? Вес быстро сбрасываешь? Не тошнит? Голова не кружится? Давай-ка я на УЗИ тебя схожу, вот что – на трехмерное, мы как раз аппарат только что получили. Я здоров, Шустрик. Сказал медленно. Не волнуйся. Это не рак. Рак я бы не прощляпил. Все так говорят! – запричитал Шустрик, догоняя, семена на маленьких толстых лапках, торопясь. И вообще, как будто рак – это самое страшное. Есть на свете вещи и похуже.

Огарев не дослушал, закрыл за собой дверь в кабинет. Шустрик был прав. На свете есть вещи и похуже рака. Например, влюбиться в сорок лет, когда ты уже тринадцать лет женат. Он нажал на кнопку внутренней связи. Да, милый, тотчас отозвалась Аня, словно ждала, когда он позвонит. Будто подкарауливала. У меня опять вызов сегодня. Я тебя до дома доброшу – и сразу уеду. Буду поздно. Огарев задержал дыхание, чувствуя, как кожу на затылке, на лбу, даже на предплечьях стягивает от стыда. Как она верит во всю эту хрень? Какие вызовы у частного врача – да еще ежедневно? Да будь в городе чума – мне бы все равно не пришлось так мотаться. Ты не трать время, ответила Аня мягко, я и на метро отлично доберусь. Только поешь обязательно. Обещаешь, что поешь? Огарев кивнул, как будто она могла видеть. Это все, что он мог обещать теперь. Все, что он вообще мог.

Новый год встретили у Аниных родителей – с пирогами, холодцом, селедкой под шубой. Скучно, тепло, как в старом, грязноватом, банном халате. По-домашнему. Огарев даже напиток не мог – так ему было стыдно, и только выходил то и дело на балкон, чтобы покурить и глотнуть густого московского воздуха. Еще днем был плюс – и все сокрушались, что встре-

чают Новый год без снега, но ночью наконец-то подморозило, так что праздничные петарды с хрустом разрывали холодное небо, рассыпая дешевенькие китайские огоньки. Визжала под окном какая-то компания, и одна невидимая девка все хохотала – ненормально, будто заводная, и Огарев ждал, когда этот отчетливый, безумный, механический смех сменится истерикой или хоть кто-нибудь даст девке по морде, чтобы она наконец заткнулась.

Напрасно. Все напрасно.

Он отшелкнул вниз окурок, полюбовался, как тот, умирая, попытался изобразить петарду – те же алые искры, то же тревожное кружение в темноте. Нет. Не вышло. Погиб бесславно. Но хотя бы попробовал. Попытался. Маля, должно быть, спит сейчас, свернувшись клубком. Или наоборот – разметавшись. Я никогда не видел, как она спит. Не знаю, каковы на вкус ее губы. Ничего вообще не знаю. Кто она? Откуда? Какие-то обрывки, фразы, может, сплошные враки. Девочки ее возраста часто врут. Может, она скверная любовница. Мошенница. Может, вообще плохой человек. Ничего не знаю. Кроме того, что она – самое родное, что есть у меня на свете. Нет, не на свете даже – больше. Огарев вдруг вспомнил поразившую его когда-то фразу – в момент, когда объект достигает скорости света, ход времени останавливается. Теория инвариантности. Квантовая физика. Высокая и темная игра человеческого ума.

Ход его времени остановился. Огарев летел неподвижно над огромной распластанной Москвой, и время стояло вокруг стеной, чуть постанывая, как тайга под Красноярском. Маля была где-то там – правее, и внизу, в своей квартире в Безбожном переулочке, которую он тоже никогда не видел и оттого читил – как будто невозможный и от того особенно желанный загробный мир. Маля. Почему сейчас, почему не двадцать, ладно – хотя бы не десять лет назад? Почему мне? За что? Почему так больно? Почему, черт подери, эта любовь так болит? Стругацкие. Борис все еще жив. Что мы будем делать, когда и он тоже умрет? Огарев улыбнулся мокрыми глазами, примериваясь вон к тем пикам – славный заборчик, острый, черный, отягощенному злом, мне не придется лететь долго, и, если постараюсь наткнуться правильно, не придется долго и умирать. Я не могу выбрать, Господи – Ты же видишь. Я не гожусь на роль ловеласа, Ты сам создал меня скверным потаскуном. Другие умеют славно обтяпывать свои половые делишки, не вмешивая ни голову, ни сердце. Ничего, кроме яиц. Я не могу. Бросить Аню. Бросить Малю. Броситься самому.

Девка в темноте вдруг перестала хохотать, словно сломалась. Огарев набрал полную грудь воздуха. Сладкий. Холодный. Не надо, Иван, тихо попросила мама. А то простудишься. В детстве, зимой, ставила мороженое на батарею. Блюдечко, чайная ложка, липкая жижа. Призрак лакомства. Огарев стиснул балконный поручень, примериваясь, – и тут хлопнула дверь, выпустив на волю ароматы уже подкисающего оливье, гомон, скуку, завтрашнее похмелье. Тесть вышел на балкон и, деликатно покашляв, встал рядом. Он был жалкий, ссутуленный, словно раньше времени вколоченный в землю бойкой женой. Да и не женой, если вдуматься. Горемыка. Когда они развелись? Аня только в школу пошла, кажется. И до сих пор мыкают жизнь под одной крышей. Невидимая семейная тайна, неопасная, но надоедливая и мстительная, словно мелкий бес.

Желание умереть прошло – бесследно, как ему и положено. Глупый жалкий порыв, если вдуматься – животворный. Каждый хоть раз мечтал покончить жизнь самоубийством. Это было словно увидеть в темной комнате, набитой демонами, мерцающие в уголке зеленые буквы – «выход». И осознать, что этот самый выход действительно существует, что в любую секунду можно просто открыть дверь и выйти, и означало – выжить. Великая и милосердная выдумка Бога. Без нее было бы совсем невыносимо.

Пойдем в дом, Ваня? – тихо попросил тесть. Холодно.

И они пошли в дом. Каждый – к своему персональному мелкому бесу.

И сирень зацветает.

И сирень зацветает.

И сирень зацветает на левой груди у нее.

Огарев пробормотал это вслух наконец-то, и Маля немедленно, точно заглядывала через плечо в ту же книжку, продолжила – *и ладонь, как суденышко, тонет в крахмальных юбках.*

Огарев остановился.

Этого не может быть.

Маля по инерции прошла еще пару шагов и оглянулась. Посмотрела удивленно. Шубка, щекочущая нежный подбородок. Маленькие следы на заснеженном тротуаре. Помесь «Курсистки» Ярошенко и «Неизвестной» Крамского. Вы знали, что «Курсистка» написана с Гали Дитерихс – жены Черткова, того самого злого гения Льва Николаевича Толстого, нежнейшего его, самого страшного и преданного друга? Вам не странно, что звали Галю на самом деле – Аня? А что «Неизвестную» Крамского называли в свое время портретом Анны Карениной? Снова Толстой, всюду он.

Не сравнивай. Живущий – несравним.

Ты не можешь знать эти стихи, твердо сказал Огарев.

Почему? – Маля удивилась, как будто Огарев заподозрил ее в незнании того, что Земля – круглая. Я знаю эти стихи. Они очень хорошие.

Я тоже знаю, сказал Огарев. Очень хорошие. Да. Но ты не можешь их знать. Никто не может. Я сам про них не помнил двадцать лет. Про них вообще никто не помнил.

В девяносто третьем, кажется. Или нет, в девяносто втором – точно, в девяносто втором. Четвертый курс. Огарева тогда ненадолго и совершенно случайно затянуло на орбиту странной компании. В поисках духовного пропитания он частенько забредал в ЦДЛ. Легендарный ресторан, разумеется, был ему во всех отношениях недоступен, но чашку дрянного кофе (в прокуренном буфете, среди жалких современников и великих теней) мог иногда позволить себе даже Огарев. Но главное – в вестибюле ЦДЛ располагался необыкновенно лакомый книжный развал. Там можно было запросто откопать невероятное – например, изданную за счет автора книжицу (тираж 100 экз.) или вовсе рукописный сборник, сулящий покупателю лет через сто серьезные деньги и подобострастное обожание букинистов. Кто-то же когда-то оказался настолько безумен, чтобы взять с прилавка «Садок судей» или брошюрку ничевоков.

Еще в девяностые в ЦДЛ безостановочно кто-то выступал – то с лекциями, то с нетленками, то просто так – желал поговорить с согражданами о том, куда ж нам плыть в топленом молоке. Ты тоже помнишь эти поединки? Но послушать удавалось нечасто – обычно за вход требовали плату, а недельный бюджет Огарева тогда составлял триста рублей. То есть сорок два рубля 85 копеек в день. Если выходило больше, надо было вычитать из бюджета следующего дня или, если денег истратилось меньше, прибавлять к будущим тратам, новая книжка выкраивалась из несъеденного обеда, пиво вычиталось из картошки, проездной, пусть и студенческий, оставлял в кошельке многодневную голодную брешь. В общем, это была невероятно сложная, утомительная, нищенская бухгалтерия, для которой требовался специальный блокнот, грустный, как любой подлинный документ, даже не пытающийся притвориться исторически значимым.

Сохранился, представьте. Добрался до наших дней.

30.03.92

Мороженое – 20 руб.

Огурец – 7 руб.

Книга – 4 руб.

Итого – 31 руб.

31.03.92

Кефир – 7 руб.
Рыба – 21 руб.
Хлеб – 5 руб.
Картошка – 22 руб. (5 кг)
Итого – 55 руб.

01.04.92

Яйца – 90 руб.

02.04.92

Стрижка – 6 руб.
Хлеб – 5 руб.
Итого – 11 руб.

03.04.92

Обед – 25 руб.
Театр – 20 руб.
В театре – 20 руб.
Итого – 65 руб.

04.04.92

Молоко – 8 руб.
Хлеб – 5 руб.
Сигареты – 30 руб. (по 5 руб. пачка, на неделю)
Итого – 43 руб.

05.04.92

Яблоки – 32 руб.

Вот и в тот вечер Огарев копался в книгах – нищесборные и одухотворенные цэдээловские старушки, известные своей свирепостью, благоволили только к студентикам (солдатикам, каторжанам, пленным – историческая традиция жалеть несчастеньких, поносить – сильных). Огареву поэтому разрешали читать бесплатно, недолго, конечно, но за полчаса, знаете ли, многое можно, а если поэтическая книжка – так даже всю целиком... Кое-что удавалось и вовсе украсть – не физически, конечно, но все равно навеки – наизусть. Дверь в Малый зал приоткрылась, там загудело невнятно, и вдруг – четко, без распева – *мы с тобой проживем этот нищий, захлопнутый мир. Где легко поднимаются к небу лишь ссоры и дети.* Женский голос. Сильный, молодой, чуть надтреснутый в глубине, самую малость, едва заметно хрипловатый. Ларингит. Или хронический тонзиллит. Дверь тотчас же захлопнулась, кто-то вышел по сор-

тирным делам или просто расхотел слушать. А зря. Это было – как обещание. Обещание на рассвете.

Огарев поднял голову от Ходасевича, сухого и прекрасного, как спирт. Недоверчиво посмотрел на старушку. Композитивисты, пояснила она. Вечер у них творческий. Вход – 10 рублей. Огарев снова опустил глаза. Композитивисты, маньеристы, метаметафристы. Все это очень интересно, конечно. Но десяти рублей у него не было. Старушка понимающе пожевала ртом. У нее тоже не было десяти рублей. Мало у кого тогда они были. Да это студенты литинститутские. Сбились в стаю и куролесят. Через полчаса выйдут – и бесплатно облущаетесь. Их же, как до стихов дело дойдет, насильно не заткнешь.

И точно, не успел Огарев зазубрить наизусть и трети изумительной «Тяжелой лиры», как дверь распахнулась еще раз, и толпой вынесло любителей поэзии. Огарев поискал глазами, пытаясь определить обладательницу драгоценного ларингита, но побоялся, что она окажется юродивой уродкой. Хотя ему-то, собственно, какое дело? Хоть трансвеститом. Огарева толкнул плечом рослый красивый парень, черномазый, щетинистый, похожий не то на породистого торговца гвоздиками, не то на притворяющегося армянином Пастернака. Стихи любишь, брат? – спросил он вместо извинения, оценив разом и томик Ходасевича, и худобу, и дрянной турецкий свитер. Пошли с нами!

И Огарев – что вы думаете? – пошел.

Из всех странных мест, в которые заносило к тому времени Огарева (включая атомный реактор, сквозной проход внутри стены Донского монастыря и судебно-медицинский морг на Хользуновке), общежитие литинститута оказалось самым неприятным – и удивительным. Унылая шестиэтажная громада на Добролюбова. Церковной высоты своды, негромкая, но вполне адская вонь, проемы, затянутые панцирными сетками. Чтобы, значить, творческие личности кончали собой без ущерба для здоровья администрации. На сетках – космотья пыли, бычки, скомканные бумажки, хлопья векового пепла. Рукописи? Отлично горят. Просто отлично. Греют только плохо. Тюремной мрачности коридор, бурая краска, ряды дверей. Из-за каждой – расстрельная, пулеметная дробь печатной машинки. Неопишимо загаженные сортиры. Утро начиналось с истошного вопля старой, истертой по всем швам уборщицы – а насрали-то, господибоже-тымой! А насрали! А еще поэты! Вторая уборщица была молчаливая, молодая. Настоящая красавица, достойная венка сонетов. Просрали и ее. Никто не заметил, не написал. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.

...В комнату, циклопически огромную – как и все в общежитии, кроме разве что талантов ее обитателей – набилась уйма народу. Огарев, не в силах отделить своих от чужих, забился в угол, оглядываясь, все еще профессионально. Как учили. Окно, дверь, пути к отходу, вот этим стулом офигарю вот этого по голове, а этого – просто отшвырну. Недавняя армия отпускала неохотно, словно действительно имела на Огарева какие-то права. Все рассаживались и снова вскакивали, сновали, неопрятные, странные, причудливые, как персонажи из учебника психиатрии. Пациент К. 20 лет. В детстве укушен домашним ежиком, с тех пор находится на учете в психоневрологическом диспансере. На этом фоне две пожилые одухотворенные девушки, из тех, что никогда не пугают и не пропускают ни одного вернисажа, казались необыкновенно, убедительно нормальными. Они точно были не из общежития Литературного института имени Горького. Огарев вдруг пожалел, что и сам пришел.

Что я здесь делаю, среди этих странных жар-птиц? Пусть себе гадят и галдят.

Он поднялся, собираясь протолкаться к выходу, но одновременно с ним встал щуплый парень, чернявый, с нервными желваками на скулах и неотчетливо азиатским разрезом глаз. Может, несостоявшийся Даун. Может, просто обладатель выразительного эпикантуса. *Спадающей тифельки спелый, фисташковый стук*, начал он. Все уважительно притихли. *Большими глазами раскосой, роскошной косули безумно глядишь. Это знойные ветры надули соль Мерт-*

вого моря в излучины вскиннутых рук. Огарев снова сел и не выходил из общаги несколько дней. Да и никто, впрочем, не выходил. Обычное дело. Молодость. Доблесть. Вандея. Дон.

Огарев спал где придется, ел что давали, пару раз стонял за водкой – один раз к таксистам, с провожатым. Чужаку бы не продали. Мало ли. Почти не говорил – все больше слушал, смотрел, определял расстановку сил. В комнату приходили, уходили, кто-то зависал на несколько часов, кто-то исчезал, освистанный, после первой же строфы. Поэзию здесь знали и любили. Нет. Не любили. Она тут просто жила. Обитала в такой концентрации, что – Огарев был уверен – на другие места ее просто не доставало. Читали все – вперебивку, свое, чужое, но по большей части, конечно, свое. Некоторые стихи были ошеломительно прекрасны, некоторых Огарев не понимал и здраво предполагал, что никто не понимает тоже, кое-кто графоманил, плел околесицу, выдавая ее за чудеса. И даже сам себя не мог обмануть.

Довольно скоро Огарев определил костяк, так сказать, становой хребет компании – четыре парня. Армянских кровей Пастернак, за которым Огарев и увязался, – слишком живой и плотоядный, чтобы погибнуть. Худой красивый монголоид, в котором было все-таки что-то явно генетически не так. Какая-то подлинная, родовая червоточина, куда более страшная, чем надуманное, наигранное безумие других. Еще невысокий, с крупной головой и надутыми губами – не то по-лягушачьи, не то по-детски, из четверых – самый грустный и обманчиво простой. И последний – белесый, тихий, похожий на настоящего маньяка с неподвижным розовым лицом и длинной прядью, которая застенчиво прикрывала плешь, уже не будущую. Настоящую. Какие у них были стихи, господа. Какие стихи. Непостижимо, что в помойной Москве девяносто второго года, в сволочное самое время, посреди нигде, четыре этих мальчишки, ровесники Огарева, произносили, закидывая головы, помогая себе и Богу руками, слова, единственно возможные на свете, составленные в единственно возможном, волшебном порядке, который словно придавал смысл всему, словно оправдывал все, включая смерть, нищету, обман, тщету всего сущего, будущее бессмертие.

Это было настоящее – это оно и было. Огарев это понимал. Все это понимали.

Я на тебе не настаивал, прекрасная божия тварь, любил, как отвар настаивал, и пил по глоткам отвар. Оного времени – ночь коротать, наблюдая, как превращаются в лица и заросли стены, как поднимают последнюю летнюю стаю старые греки на поиски новой Елены. Это теплое детство мне на руку морду кладет. Этот темный, упрямый волчонок – и есть мое детство. Я – страсти твоей самозванец. И взмах одичавших ресниц, и этот пугливый румянец я выбрал из тысячи лиц. Не сразу, но Огарев понял, почувствовал скорее, что все эти тексты, все завораживающее кружение было связано с одним-единственным человеком – молчаливой девушкой с таким живым неправильным лицом, что оно казалось почти красивым. Она ничего не читала, ни своего, ни чужого, но зато слушала так, словно понимала – это ей одной, ей одной. Все вообще – только для нее.

В безымянной этой девушке – в отличие от прочих обитателей общаги – не было ничего безумного, больного, но в том, как она складывала губы – углами вниз, как поправляла небрежно стянутые резинкой рыжие волосы, – чувствовалась какая-то высокая трагедия, которую прежде Огарев видел – но где? Где? В памяти вертелось, уворачиваясь, Огарев морщился, пытаясь навести резкость, прицелиться, но нет. Нет. Почему она молчит все время? Сумасшедшая? Глупая? Немая? Девушка по большей части сидела в углу, уронив маленькие руки, едва видимая в табачном дыму – курили тут отчаянно, злее даже, чем в армии, и дрянными сигаретами делились так же щедро, как стихами. А потом вдруг надолго вышла – Огарев решил даже, что навсегда, но она вернулась – со сковородой жареной картошки. Синие джинсики, мужская рубашка, едва определившаяся грудь вдруг исчезли. И Огарев сразу понял, слепой, вот дурак, как только раньше не догадался – Саломея с головой Иоанна Крестителя на блюде, вот кто она была, только не тициановская, полная, милая, легко вскинувшая над головой страшный

груз, а Саломея Карло Дольчи. Семнадцатый век, нежный, горький рот, поворот головы, вздох, завиток у щеки.

Девушка посмотрела прямо на него – и увидела. Как Маля.

Несколько секунд они не отводили друг от друга глаз, как будто старались запомнить на всю жизнь. И запомнили. А потом девушка поставила на стол сковородку, чугунную, домашнюю, черную, неуместную в этом хаосе, так же как сам Огарев, и он понял, что это она читала тогда, в зале ЦДЛ, стихи. Это был ее голос. Точно – ее.

Огарев встал, чувствуя, как качается в голове тяжелый хмель, и вышел из комнаты. Был, оказывается, снова вечер – неизвестно, правда, какого дня. На Добролюбова гудело, ехало, переливалось мелким дождем, отражалось тысячекратно в живых, наморщенных, глянцевого лужах. Огарев поежился, огляделся в поисках подходящей остановки – и пошел пешком, наугад, но безошибочно, особым чутьем коренного москвича, определяя дорогу. Он родился в этом городе, вырос и сейчас не боялся в нем даже умереть. Раз в мире все еще существовали стихи, умереть было не страшно.

Карманы были пусты, лекции – пропущены, будущего не было вообще, но Огарев уверенно шлепал по лужам, бормоча, как заклинание:

И сирень зацветает на левой груди у нее.

И сирень зацветает на левой груди у нее.

И сирень зацветает.

Маля откликнулась через двадцать лет.

Он подошел к ней вплотную и, впервые ничего не боясь, обнял. Москва 2012 года крутанулась вокруг своей оси, январская, синяя, ледяная. Даже на морозе Малины губы были горячими и живыми.

Она откликнулась.

Я люблю тебя, сказал Огарев, не прерывая поцелуй, не сказал даже – подумал. Но она – поняла. Конечно, поняла. Полезла торопливо в сумочку, достала ключи, тяжеленькую, холодную связку. Как будто ждала. Огарев тоже достал ключи, от прежнего дома, прежней жизни. Снял с них олимпийского мамино мишку и, поддев тугое колечко, нацепил на ключи от Малиного дома. Как будто надел обручальное кольцо.

Как звали девушку из комнаты 423 общежития литинститута, Огарев так и не узнал.

Да и какая разница?

Все они умерли, замолчали, заткнулись, продались, перестроились, приладились к жизни. Перестали писать стихи.

Лучше бы и правда – умерли.

За последующие несколько недель Огарев совершил столько подлостей, сколько не каждому гаду отводится на всю его долгую, плодотворную, продуманно скверную жизнь. Дома он так и не появился – то есть вообще. Оставил все в прошлом в прямом смысле этого слова. Даже не ушел в чем стоял. Просто больше не пришел. Человек по природе своей честный и по убеждениям – несомненно и старомодно даже порядочный, он бросил жену по телефону. Позвонил – и сказал, что... Неважно, в общем, что сказал. Главное – по телефону.

Черт, это не подло даже было – гнусно. Никто этого не заслуживал. Никто. Особенно Аня.

Конечно, Огарев не любил жену и даже не обещал, но они были вместе с 99-го года. Тринадцать лет без малого. Без Мали. Спали вместе, работали, выживали, выкарабкивались из Москвы плечом к плечу. Были в одной, пускай и паршивой, но в одной все-таки лодке. Фактически круглосуточно. Вычерпывали воду, глазели на берега, гребли. Это Аня гладила его по руке, когда ему было фигово, она отсеивала идиотов у него на приеме, дула на суп, прежде чем дать ему попробовать. Варила этот чертов суп, в конце концов. Она была отлич-

ный товарищ – верный, как в детстве. На все сто. Огарев сомневался, умна ли она, злился, что она ничего не читает, кроме скучнейших медицинских учебников, устаревших, еще когда он перешел на третий курс, но товарищ она была – просто отличный. Что ты уткнулась в эти внутренние болезни, Аня? Это же глупо, в конце концов. Ты же ни слова не понимаешь! Поднимала глаза, улыбалась виновато, жалко, как будто он просто пошутил, как будто так надо. Хорошо, милый. Он был милый. Милый, как бы ни отворачивался к стене, как бы ни грубил. Это она заботилась о нем. О них двоих. Убирала летнее, доставала зимнее, выбирая ему новую куртку, чистила ботинки, водила щеткой, любовно ставила в прихожей – носок к носку. Опять на правом подошва стерлась. Не волнуйся, я в субботу зайду в мастерскую, отдам починить.

И Огарев даже слова не дал ей сказать. Не дал даже спросить. Сказал – я ухожу, Аня, квартиру буду оплачивать, не беспокойся. И повесил трубку.

Квартира стала отдельной проблемой, еще одной костью в горле. Еще одной. Квартира, работа, машина, все налаженное, привычное, незаметно составляющее основу жизни, саму жизнь, вдруг ощетинилось, раскололось, впивалось то там, то тут, так что Огарев в конце концов почувствовал себя намертво прикрученным к прошлому и истыканным насквозь святым Себастьяном. Желание поступить если не благородно, то хотя бы по совести разбивалось о немислимые московские цены. Да, Огарев неплохо зарабатывал, но это «неплохо», которым он так наивно гордился, по столичным меркам было даже не честной нищетой – хуже. В городе, где воровство было возведено в доблесть, в государстве, официально, на самом высшем уровне отменившем совесть, он, блестящий врач с огромной практикой, не мог позволить себе даже развестись. Немасштабная подлость, по российским меркам. Слишком мелкая. Для того чтобы гордиться собой, теперь нужно было распилить миллиарды, развалить отрасль, ухнуть под откос целую страну. Огарев этого не мог. Не умел мыслить по-государственному. И потому сидел в машине, за которую платить банку еще и платить, невыспавшийся, небритый, кое-как умывшийся в макдоналдовском туалете, не сумевший выпить даже чашку кофе. Просто не впихнул в себя. Просто не впихнул. Не смог. За ночь, чтобы не замерзнуть, он сжег почти бак бензина – дорого. Но снимать квартиру еще дороже.

Ане было не под силу одной оплачивать съемную квартиру, ему – не по силам тянуть две. Огареву негде было жить в самом примитивном смысле этого слова. Негде – и все. Он был бомж, пока дипломированный, пока еще относительно чистый, пока прописанный в родительской квартире, в которой не был – сколько? – да, с 1990 года, с маминых похорон. Может, кстати, и не прописанный уже, кто это проверял? Никто. Можно было ночевать на работе. Или, как сегодня, в машине. Или на улице. Или выкинуть на улицу Аню. Ну, не на улицу, конечно. Пусть вернется к родителям. У нее были нормальные родители, в конце концов. Жила же она с ними раньше. Огарев им даже не позвонил. Не объяснил, почему бросил их дочь. За что. Тесть и теща. Пирожки, кислая капуста, посиделки по воскресеньям. Еще одной подлостью больше – когда их столько, перестаешь даже считать. Зачем?

А еще была работа – немисливо даже представить себе, что он будет продолжать работать с Аней. Проходить мимо стойки, кивать. Просить по селектору успокоить ревущего в коридоре ребенка. Поменять расписание, снести субботний прием, что значит – нет расходников? Должны быть, Аня. Ты же не маленькая. Распорядись. Обычная, ежедневная суета. Совершенно невозможно. Значит, искать новую клинику, притираться к каким-то другим, незнакомым людям, менять маршрут, наезженный до колеи. Или выкинуть из клиники Аню, оставить ее разом – без мужа, без дома, без работы. Огарев знал, что Шустрик даже выбирать не станет. Бог с ними, с идиотами, которые валом повалят на прием. Огарев стоил дороже во всех смыслах.

Аню надо было просто смахнуть со стола – и забыть.

Но Огарев не мог, господи. Просто не мог.

Если бы не Маля, он бы точно не выдержал. Никто бы не выдержал. Развод – это для бессердечных. Но Маля, слава богу, – была. Приехала, хлопнула дверцей, уселась рядом, предварительно уютно повозившись. Поцеловала, не слушая отнекиваний – не надо, я не умылся толком, в машине ночевал. Просто поцеловала – и все. Мягко, тепло, как мама. И еще раз. Ничего не делала, не давала советов, просто сказала беспечно – да ладно, все утрясется. Вот увидишь. Все утрясется. Поживи пока у меня, да почему же невозможно? У меня своя квартира. Будешь платить за свет, если это так принципиально. Или за воду. Что тебе больше нравится? Свет или вода? Огарев вымученно улыбнулся, но улыбнулся ведь – и лицевые мышцы, сперва неуклюже сведенные, потянули за собой радость, разгладились, гипофиз и гипоталамус начали послушно вырабатывать эндорфин, обезболивая, утоляя, погружая в полунаркотическую счастливую дрему. Тело пыталось справиться, защитить себя, оно хотело жить, быть счастливым. Хотело Малю.

Правда, поехали ко мне?

Но Огарев поехал к Шустрику.

Шустрик подскочил к кафе минут через сорок – по московскому времяисчислению почти мгновенно. Выслушал молча, так же молча достал из кармана ключи, пододвинул по столешнице. Как будто подтолкнул робеющего ребенка. Сказал – белье там только смени. В шкафу есть свежее. Отдал самое святое – квартиру для случаев, отдохновение телесное и душевное, о духовном и не помышлял. Не по чину и не по вере было духовное Шустрику. Он и сам так считал. Зря. Оказывается, зря. Спросил – ты серьезно это или только так, отдохнуть? Огарев мотнул головой, стиснул еле теплую чашку, чувствуя себя грязным, гнусным, больным. Кофе он снова так и не выпил.

Отпуск я тебе на неделю дам, хватит недели? Не, давай лучше на две. Шустрик продолжал рассыпать перед ним королевские дары, хотя Огарев не просил больше ни о чем. Просто не мог. Прием отменим, это ничего, ты столько лет в отпуск не ходил. Не перемрут, потерпят. Шустрик, как пса, подсвистал официанта, ткнул пальцем в картинку – эта была новая мода в Москве, меню с фотографиями, то ли совсем для дебилов, разучившихся читать, то ли правда наступала эра человека визуального. Смотреть было проще, чем думать. Словесная составляющая мира все сокращалась, вавилонских львов, еще четыре тысячи лет назад изрезанных безупречной быстрой клинописью, заносило безжалостным временем. Грамотность умирала, сокращалась до смс, до гыканья, до междометий. Кому теперь были нужны написанные слова? Только ему да Мале.

Огарев вздрогнул, вынырнул из дремы, накрывшей мгновенно – как будто кто-то быстро положил ему на глаза непроницаемую ладонь. Изнутри колотило, озноб стягивал, словно отсыревшая власяница – неудавшегося, блохастого грешника, отчаявшегося выдавить из себя хоть каплю святого.

Капля святого убивает лошадь.

Шустрик вонзал ложечку в принесенное пирожное – доверчивый, толстый, нелепый. Собирал в углах некрасивого рта сладкие крошки, сочувствовал, рассуждал. Как и Маля, простодушно надеялся, что как-нибудь утрясется. Ты только не руби сплеча, старик. Не торопись. Слышишь? Не торопись. Сидел открыто – без лат, без забрала. До глупости доверял. Он совсем перестал быть врачом, давно уже, даже иголками своими больше не баловался, только рулил процессами, осваивал бюджеты, присасывался то к одной, то к другой программе, околачивался у подножия новой власти, маленький, упитанный, осторожный. Даже подумывал – не вступить ли в правящую партию, но не мог пока, просто не мог. Не настолько скурвился. Все еще напевал, по утрам, бреясь, – взвейтесь кострами. Все еще подсовывал выросшим, чужим совсем сыновьям, сказки про Павку Корчагина. Про Тимура. Про Зою и Шуру.

Все еще был человеком.

Одной с Огаревым крови, чтобы там ни думал об этом всякий грязнорубашечный сброд.

Огарев вдруг второй раз в жизни снова остро захотел, чтобы началась война – только не мировая, а гражданская. Своими руками задавить какую-нибудь сволочь. С наслаждением. Господи, меня же учили убивать. Хорошо учили. По-советски. Как я мог просрать это? Всю свою жизнь. Шустрикову жизнь. Наше с ним общее детство. Как позволил расплодиться всем этим гнидам?

Шустрик расплатился незаметно, как волшебник, – карточка, чаевые, таким же волшебным образом воплотился и теперь уже окончательно растворился в воздухе официант. Тьфу, чуть не забыл! Шустрик вывернул бумажник – в прямом смысле, так что мелькнуло шелковое, беззащитное нутро. Тут не очень много, но на первое время... А отпускные тебе на карту скинут, я девочкам скажу. Только заявление на отпуск потом подпиши. Не забудь.

Огарев кивнул, сгреб со стола деньги.

Спасибо.

Да брось, старик. О чем ты? Свои же люди. Главное, возвращайся поскорее. Нам без тебя – как.

Он пожал Огареву руку и пошел, задевая толстым вихляющим задом маленькие, кукольные какие-то столики, и Огарев вдруг впервые увидел, что Шустрик постарел. Сквозь редующий иудейский каракуль просвечивала уже жалобно плешь, уже ссутулились покорно плечи, еще немного – и он засеменит бульварами, едва держа на кифозной шее большую бестолковую голову, непослушная палочка, тяжелое пальто, неблагоприятные внуки.

От двери Шустрик оглянулся еще раз, улыбнулся, показал Огареву вздернутый кулак – мол, но пасаран, старик! Они не пройдут.

И Огарев улыбнулся в ответ – как мог. Потому что понимал уже, что не вернется. Ни к Ане. Ни к Шустрику, в клинику. Это была еще одна подлость – и не последняя. Огарев это знал. Знал, что еще много лет придется просыпаться по утрам и корчиться, по-настоящему корчиться внутри от стыда, потому что простить самому себе когда-то сделанную подлость невозможно. Просто невозможно – в принципе. Это была очередная божеская хитрушка – невидимый, но всегда ощутимый чип. У Огарева он был чуть пониже ключиц, у кого-то, может, в заднице – Огарев не знал. Но избавиться от этой четкой, чуть подплавленной по краям огненной точки было нельзя. Потому что ты сразу, автоматом, переставал быть человеком. Возможно, если удалить лобные доли, совесть переставала действовать, но у Огарева было слишком мало знакомых с успешно проведенной лоботомией. И даже существа из телевизора, заседавшие в думе и формировавшие правительственные кабинеты. Даже Голикова, о которой он думать не мог больше нескольких секунд – сразу леденели и прыгали пальцы. Все они – Огарев знал – тоже корчились по утрам. Должны были корчиться. Или и вправду они были выродки, космический сор, и плебейские бредни о заговоре инопланетян против слесарей-сантехников третьего разряда нужно было считать чистой незамутненной правдой. Но тогда пришлось бы поверить и в левитацию, и в гомеопатические шарики, которые полагалось потенцировать, потенцировать, блин..., взбалтывать в соотношении один к девятисто девяти, чтобы сахар превратился в панацею, опреснок и кагор – в плоть и кровь Бога, истинного и всемогущего, допускающего все это. Да что там – допустившего. Огарев был слишком умен, чтобы поверить в такой идиотский мир. Такой планете он не поставил бы и ноля.

Он вдруг засмеялся, вспомнив Ренату Литвинову, как вспоминают увиденных в зоопарке мартышек – с теплом и виноватым снисхождением. Пусть. И она тоже человек, наверно. Все мы, наверно, люди. А раз так, значит, я буду вечно зажариваться заживо по утрам, не решаясь открыть глаза. Но когда я их наконец открою – рядом будет Маля. Маля, вы слышите? И если это и есть цена – я готов заплатить прямо сейчас.

Маля ждала его в машине, спокойно, доверчиво. Сидела, уткнувшись в книжку – электронную, в красной, основательно потертой обложке. Еще одна новомодная штуковина, к кото-

рой Огарев никак не мог привыкнуть. Даже слово мерзкое – гаджет. Куда я лезу, ископаемое? Ради чего уродую свою – и не только свою, к сожалению, – жизнь? Маля улыбнулась, заложив ридер пальцем, словно живую, настоящую книгу. Отягощенные злом, похвасталась она. Любишь? Огарев кивнул. Ради этого. Да, только ради этого.

Тоже измученная бессонной ночью машина тронулась с трудом, под колесами шуршала московская раскисшая каша. Маля даже не спросила – куда он ее везет, зачем. Абсолютное доверие, которое так нелегко обмануть. Испытанное женское оружие. Аня точно так же слепо ему доверяла. Сколько я еще буду думать о ней? Тринадцать лет – честно возвращая по году за каждый совместно прожитый? Маля, продолжавшая читать на ходу, вдруг подняла голову и процитировала торжественно – все они хирурги или костоправы. Нет среди них ни одного терапевта.

И, помолчав, уточнила. Но ты ведь терапевт?

Да, ответил Огарев. Я – всего-навсего терапевт.

И тут же им прямо в бок с оглушительным, сахарным хрустом впечаталась грязно-серая, цвета помертвевшей Москвы, «ауди».

Ни царапины, славатебегосподибожетымой. Ни царапины.

Огарев еще раз, закрыв для верности глаза, прощупал миллиметр за миллиметром. Под пальцами, то мягкое, то тугое, мышцы, жилы, нежный жирок, жизнь. Тут не больно? Ты точно не обманываешь? Маля засмеялась. Тут щекотно. Огарев открыл глаза. Маля стояла в центре комнаты той самой, заветной Шустриковой квартиры, совершенно голая, совершенно спокойно, будто одна. Он сам велел ей раздеться, трясаясь не от страсти совсем, а от страха. Удар пришелся на ее сторону, и Огарев, за долю секунды прокрутив в голове не свою почему-то жизнь, а чужую, прочитанную, всего и успел попросить – только бы подушка безопасности сработала, господи! Только бы...

Исполнено. Лимит ваших просьб исчерпан на тысячу лет вперед.

Маля даже нос себе не разбила. Зато вот Огарев разбил – водителю «ауди», лихому и явно нетрезвому хлопцу, который только причитал, пока Огарев с отяжкой, до боли в плече, лупил его по мордасам. Прибывшие наконец-то на место ДТП гайцы (у Огарева язык не поворачивался называть их дэпээсниками, уж тем более – господами полицейскими) оценили изуродованную машину Огарева, изуродованную физиономию хлопца – и, заставив всех (даже зачехотавшую Малю) дыхнуть в алкометр, восхищенно покрутили головами. Багажник открывай, алкаш, ласково попросил гаец, толстый, ленивый, разбитной. И бардачок заодно. Хлопец неохотно продемонстрировал малый дорожный набор московского водителя – увесистую битку, саперную лопатку, газовый пистолет, грубо, но надежно переделанный в травмат. Езда в Москве давно была опасная, фронтовая. Маля ахнула, зажала руками рот – не от страха, просто засмеялась. А ты его – просто по морде! – сказала с таким детским, девчонским восторгом, что оба гайца посмотрели на Огарева с завистливым, мужским уважением. Невыспавшийся, с их двадцатипятилетней колокольни – откровенно немолодой, явно, судя по тачке, небогатый, он спал с королевой. И королеве это нравилось.

Машину новую купишь, ничего. Главное – все живы.

Ты сам-то цел? – спросила Маля.

Все, все – перестань ощупывать меня, как цыган – пожилую кобылу.

Молодую, поправил Огарев.

Да какая разница! Главное – кобыла.

Маля наморщила нос и, явно подражая кому-то, сказала противным тоненьким голосом. Вы слышали? Он назвал меня толстой.

«Как отделаться от парня за десять дней», – они назвали фильм хором, простенький, совсем не великий, даже не очень смешной, просто милый. Но они смотрели его оба.

Оба.

Они засмеялись – тоже вдвоем, это было самое начало великого счастливого заодно, самые первые его даже не дни – часы. Огарев вдруг понял, что стоит на коленях – так удобнее было пальпировать – перед самой красивой женщиной, которую он только мог себе представить. Нет, даже не мог. Маля была еще лучше. Она стояла в тихом коконе своей наготы – простодушной, бесстыдной, потому что ей действительно нечего было стыдиться. Огарев в первый раз видел ее совсем раздетой – нет, нет, не так. В первый раз он увидел ее вообще изнутри – нежная гортань, слегка воспаленная, маленькая увуля, ровный ряд зубов, язык, гладкий и тревожный мир, ему одному открытое таинство. Абсолютное доверие. После такого она никогда больше не будет достаточно голой.

Маля положила руку ему на плечо и с любопытством огляделась, сама не догадываясь, что повторяет Мадонну в гроте Леонардо. 1483–1486 годы. Первый шаг к зениту славы и мастерства. Алтарь капеллы Иммаколата церкви Сан-Франческо-Гранде в Милане. Даже звучит как музыка. Сам Огарев не претендовал, конечно, на роль младенца Иоанна Крестителя, но Малины волосы, лежащие на теплых плечах, эти тонкие брови, это тихое ласковое изумление... Шустрикова квартира вполне годилась на роль грота. Огарев ожидал найти как минимум зеркала на потолке, плюшевую круглую кровать, шелковые простынки – все дешевые атрибуты дорогого московского распутства. Но ничего такого. Тихая застенчивая двушка, советская, скромная, судя по собраниям сочинений и полированной стенке, еще бабушкина. И даже запах был бабушкин – уютный, старый – запах куриного супчика с вермишелью и лаврушкой, корвалола, старых зачитанных книг, верности, чести.

Как здесь можно было трахать силиконовых девиц, Огарев не понимал.

В этой квартире можно было только любить.

Они ушли только через сутки – навсегда. Ясно уже, что навсегда, вместе, вдвоем, рядом. Условности больше не имели смысла – и Огарев спокойно перебрался к Мале, в Безбожный переулочек, который оба отказывались называть Протопоповским. Еще через сутки они уже были в купе – по дороге в Ленинград, который тоже невозможно было превратить в Петербург, как ни старайся следовать за чужой идиотской волей.

Ленинград был выбран случайно – просто потому что близко и оба были там в последний раз очень давно – в двенадцать, что ли, лет, и то, что его двенадцать и Малины оказались не только в разных временах, но и в разных странах, ничего не поменяло. Решительно ничего. Оба запомнили несущественные мелочи, ту самую ерунду, которая и составляет дух города, его истинную суть – влажный напор ветра, шероховатые бельма каменных львов, пирожки с резиновой полупрозрачной вязигой. «Англетер», при Мале, правда, уже объединенный с «Асторией», не понравился им совершенно (Есенина не любили оба, просто отдавали должное судьбе, вечно выбирающей себе баловня безжалостно и наобум), зато Фонтанка! А переулочки за Исакием! Конечно, удирать в Ленинград зимой было безумием – в том числе и метеорологическим, лучше бы, конечно, в Барселону, в тепло, или хоть в Париж. Ты был в Париже? Ой, прости, опять забыла. Нет, правда, в это же поверить невозможно. Ты все-таки шутишь, да?

Огарев улыбался виновато – нет, к сожалению, он не шутил. И ты ни разу в жизни не был за границей? Ни разу ни разу? Маля смотрела не с жалостью даже – с изумлением, она сама объехала едва ли не всю планету (нет, вот в Австралии не была и в Японии еще – ужасно жалко), а уж Европу знала не по путеводителям, а на память, на ощупь, как Огарев – собственный кабинет. Она училась в Лондоне – заканчивала там школу и колледж чего-то там (быстрый взгляд в сторону, почти испуганный – врет? Просто не понравилось?) и при любом удобном случае на все каникулы, даже на выходные удирала. У нее были не любимые города даже – любимые улицы в любимых городах, заветные ресторанчики, куда она заезжала перекусить, беспечно перемахнув сотни миль – просто потому что вкусно. Да нет же, это совсем недорого, честное слово, есть локостеры, хостелы, путешествовать просто надо уметь, я научу, вот уви-

дишь. И что же – у тебя даже загранпаспорта никогда не было? Потрясающе! Я даже не знала, что так бывает!

Бывает. Если сначала ты советский человек. Потом – бывший солдат с пятилетним запретом на выезд. Потом московский врач, женатый, обитающий в съемной квартире – сколько ни зарабатывай, все равно останется ровно впритык – на жизнь.

Но это же правда недорого!

Маля подпрыгивала, пытаясь объяснить. Огарев придерживал ее – ты ударишься головой о полку, осторожно, Маля! – на самом деле просто хотел дотронуться лишний раз. Прижать к себе. Угломнить. Чш-ш, не прыгай так, говорю тебе – ушибеешься. Маля смеялась, уворачивалась, дрыгала ногами, отбиваясь – и, как только она выскальзывала из рук или озадачивалась очередным вопросом, Огареву на мгновение становилось пронзительно страшно. Будто он спускался по лестнице, прижимая к груди что-то отчаянно хрупкое, неповторимое – коробку с елочными игрушками, еще бабушкиными, довоенными.

Уронишь – и все.

Таких больше не купить. Не достать. Не вернуть.

Еще Огарев боялся проснуться. Не просто проснуться – а вдруг оказаться одному, в абсолютно темной, незнакомой, холодной комнате. Чужой. Совершенно чужой.

Что он знал про Малю? Что она знала про него?

Кем окажутся оба, когда гормональный морок рассеется – а он рассеется непременно, Огарев знал это как врач. Нет ничего сильнее воли гормонов. Нет ничего недолговечнее. Когда рука, от одного прикосновения которой на нем дыбом вставали волосы, превратится в обычную руку, не женскую даже. Просто человеческую. Захочет ли он ее поцеловать? Погладить с благодарностью. Что почувствует Маля, когда поймет, что ночами ее обнимает просто человек – усталый, стареющий, испуганный, точно такой же – как другие?

Как только они сходили с общей нахоженной тропы – книги, кино, музыка – музыку оба не любили, кстати, нет, просто шум, ерунда, только отвлекает, – начиналась опасная зона. Скользкое место, по которому надо было передвигаться осторожно, крошечным приставным шажком. Прошлое – у каждого свое. Показать или нет? Впустить в тихую прихожую? А дальше? Туда, где совсем уже страшно? Отчаянная болтушка, Маля вдруг замыкалась, словно захлопывалась, когда речь заходила о ней самой. Огарев так и не узнал о ней каких-то очевидных, обязательных вещей, которые вообще-то следовало бы знать тем, кто каждый вечер ложится в одну постель, кто спит обнявшись, завтракает глаза в глаза, спорит, кому выносить мусор, кто вымоет чашку, кто первым умрет, чтобы не мучился от одиночества другой. Чур, я! Нет, я первый сказал. Кажется, это и называется совместным ведением хозяйства.

Выходи за меня замуж. Правда, выходи.

Маля перестала смеяться. Яблоко лежало в ее горсти, надкушенное, раненое, со следами маленьких зубов на лаково-красной коже. Укус ангела. Прекрасная книжка, правда? Я плакала, когда первый раз читала. Просто от радости. А ты плакал?

Нет. Я не плакал. И все-таки. Давай поженимся.

Зачем? Я не понимаю. Что это изменит?

Все.

Если так – то тем более не надо. И давай не будем больше об этом, ладно?

Эта фраза, фразочка даже – про большенебудемладно – всплывала неожиданно, и Огарев – в эпицентре своей огромной радости – вдруг чувствовал опасливый, нет – даже опасный холодок. Маля оказалась увлекательнейшей книжкой, в которой десятки страниц – десятки! – были либо вырваны, либо вымараны так, что сквозь фиолетовые, с нажимом каляки-маляки можно было разобрать лишь несколько слов, которые никак не складывались в осмысленную фразу.

Она родилась в небольшом городке на юге России (подсмотрено в свидетельстве о рождении, которое после долгих поисков вдруг само выпало из шкафа и серо-зеленой бабочкой приземлилось у ног), но жила в Москве, в отлично отремонтированной двухкомнатной квартире, которая – внимание! – была ее собственной. Двушка в Безбожном переулке! Вы цену можете себе вообразить? Огарев не мог.

Откуда у тебя квартира, Маля?

Папа купил.

Судя по всему, пресловутый ее папа выбился в местные то ли бандиты, то ли бюрократы (это все труднее было различить, да, если честно, и не стоило мараться), и Маля, говоря о нем, всякий раз странно морщилась, словно вдруг наступала на недавно подвернутую ногу. Это Огарев понять как раз мог. Очень мог.

Хороший папа.

Только больше не будем об этом ладно?

А мама твоя кто?

Она умерла.

Моя тоже умерла, Маля. Но до этого работала на почте. Она была...

Огарев подбирал слова – оказывается, это было трудно. Говорить о матери вслух. Вслух говорить о любви.

Так кем была твоя мама, Маля?

Моя мама была шалава!

Огарев даже вздрогнул, словно маленький Яшка, кучерявый, мертвый, смешной, вдруг дунул ему в ухо откуда-то издали, с того – Огарев очень надеялся, что все-таки света.

Ладно, тогда вернемся к папе. Хорошо?

Нет. Не хорошо.

Она говорила – папа, но так, что это чуть туповатое, глухое, очень детское слово звучало будто плевок. Случайно проглотила что-то нестерпимо горькое, ядовитое – и мгновенно, по-мальчишески, сплюнула сквозь зубы. Папа. Квартира в Безбожном. Кредитка, скромная, серо-черная (вот как выглядят, оказывается, платиновые карты), накрепко привязанная к бездонному и опять же папиному счету.

Маля не считала денег. Просто не знала, сколько их. Вообще не знала. Деньги были всегда.

Это было неприятно. Богатая Маля. Она была богатая.

Грубое, толстое слово.

Не шло к ней совершенно.

Маля как будто чувствовала это – и относилась к деньгам не с беспечностью, которая, несомненно, оскорбляла бы Огарева, да и любого другого честного трудягу, но и не тряслась над ними нисколько. У нее были внятные представления о том, что дорого, а что по карману, – и представления эти до смешного совпадали с огаревскими. Кое-чему он, кстати, сам у нее научился. Смелости. Радости. Тому, что инвестировать надо в воспоминания. Единственная валюта, которая только растет в цене. Давай закажем вот этих каракатиц, вот эти хрупкие сухари, которые, встретившись с белым горьким вином, становятся воздухом, вздохом, хлебом.

Огарев брал бутылку за холодное гладкое горло, Маля тут же прикрывала ладонью бокал. Мне воды, пожалуйста. Почти испуганно.

Почему ты не пьешь, Маля? Хоть глоток-то можно. Нужно даже иногда. Поверь, я как врач говорю.

Не хочу. Просто не хочу.

Почему?

Только больше не будем об этом ладно?

Огарев даже нервничать начал – зашитая алкоголичка? Наркоманка? Он пальцами, губами, замирая совсем не от страсти, проехался по каждой вене. Нет. Все идеально. Нет, нет и нет. Значит, все-таки алкоголичка? Так рано? Немыслимо! Просто не может быть. Медицинский опыт, кривая неприятно рот, подсказывал – может, очень даже может. Идиотская ситуация, конечно. Тысячи мужчин по всей планете не знали, как отобрать у своей женщины, пошатывающейся, жалкой, нелепой, стакан. Огарев не знал, как заставить Малю хоть немного выпить. И она сдалась в конце концов.

Сказала – вот поедem в Италию. Тогда.

А почему именно в Италию?

Увидишь.

Но до Италии они объехали чуть ли не половину Европы – окольными, глухими, прекрасными тропами. Путешествовать с умом и впрямь оказалось не так дорого, как следовать толпой по воле туроператоров. Одиночкам в Европе вообще рай. К тому же Огарев, бросив Шустрика, устроился на работу в самую жирную и неприятную частную клинику Москвы, про которую раньше и слышать не хотел. Скопище наглых дельцов. В кабинете не у главного врача, нет – у владельца, демонстративно развалясь на диване, Огарев впервые в жизни получил удовольствие от того, что был с ними на одной ноге. Такой же великолепный ублюдок. У нас самый высокий процент по Москве – двадцать пять процентов. Плюс оклад двадцать восемь тысяч рублей. Владелец, зеркально гладкий, даже костюм отливал то в черноту, то в синеву, посмотрел со значением. Платим белыми. Огарев засмеялся, с трудом удерживаясь от того, чтобы не запустить в выбритое ухоженное темя владельца школьного щелбана. У меня почти четыре тысячи пациентов, милейший. Поэтому шестьдесят. Что – шестьдесят? Процентом. А зарплату можете взять себе. Так сказать, за труды. И еще – по пятницам и понедельникам я не принимаю.

Владелец, подавившись вопросом, поднял брови – даже не вопросительно, умоляюще.

Почему?

Играю в гольф.

Переговоры выигрывает тот, кто в любой момент может встать и уйти. И Огарев встал, совершенно счастливый. Свободный. Наконец-то свободный.

Примете решение – позвоните.

Он еще в лифте не успел спуститься, как мобильный в его кармане, пожилой, несолидный, зато не разряжаемый даже за неделю, затрясся, как от сдерживаемого смеха. Решение было принято. Огарев обобрал не только Аню, но и Шустрика. Зато Аня останется жить там, где жила.

А они с Малей в пятницу уедут в Суздаль. Или в Барселону. Все равно куда. До самого понедельника.

Глава 6

А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

Огарев засмеялся и выудил из глиняной миски еще одну черешню. Черт знает какая крупная. Он и не знал, что такие бывают. Почти черная. В синеву. Словно слива.

Я вообще-то уже вырос, Маля. И даже ты уже выросла.

Маля завозилась, перевернулась на живот, скинув ногой скомканную простыню. Солнце немедленно улеглось ей на спину – как наголодавшаяся без человеческой ласки кошка. Три часа пополудни. Италия. Отпуск. Первый за последнюю тысячу лет. Огарев попытался вспомнить, когда последний раз отдыхал целый месяц, – и не смог. Даже в школе каникулы не были такими длинными. Месяц с Малей. Никого не лечить. Никуда не спешить. Спать до обеда, прижимая ее к себе изо всех сил. После обеда – тоже спать.

Хочешь вина? – спросил он. Я принесу. Холодное. Пахнет персиками. Персики тоже принесу.

Я сама! Маля по-детски обрадовалась возможности подвигаться, спрыгнула с постели, стоящей прямо напротив распахнутого окна. Второй этаж. Можно. Хотя Мале и на первом этаже можно. И даже по улице. Огарев и не предполагал, что женщина может с такой веселой легкостью носить собственную наготу. Голая Маля. Загар. Теплые тени. Бутылка зеленого стекла. Громадные персики прижала к груди маленьким локтем. Сейчас вырвутся, разбегутся по углам, прячься. Давай из горлышка, а? Бокалы мне нечем просто. Давай, конечно. Огарев не успел приладить к тумбочке персики и бутылку, а Маля уже снова лежала, только теперь на боку, – и тосканское солнце очертило вокруг нее теплую сияющую линию. Как будто Господь провел в воздухе пальцем – и получилась Маля. Миллионы лет эволюции. Трилобиты. Тициан. Сфумато. Краски еще не высохли. Детство Бога.

Ну так что? О чем ты мечтал, когда был маленьким?

Маля смотрела прямо, требовательно, как будто не было ни смятой постели, ни ее запаха, ни соли на теплой коже. Экзамен. Огарев поморщился. Экзамены он не любил. Слишком мужчина для этого. Или первый, или мертвый. Тестостерон.

На. Ты же хотела вина.

Ни о чем не мечтал? Вообще?

Огарев чуть не сказал правду – чтобы отец поскорее сдох, но удержался. Заел правду персиком. Не замолчал – именно заел. Вкусно. Давно пора перерасти эту ненависть. Маленькую, жуткую, детскую. В конце концов, кто его отец? Стареющий неудачник. Жалкий раб. Я давно обскакал его по всем статьям. И от того, что он этого так и не заметил, правда не перестала быть правдой. Персик тек сквозь Малины пальцы – теплый, золотой. Давай я полотенце принесу? Не надо, я оближу. И правда – облизала.

Нет-нет, не приставай! Это нечестно! Ты не ответил.

Хорошо. Я мечтал читать.

Просто читать?

Да. Целыми днями. Всю жизнь. Хорошие книги. Сидеть у окна – и чтоб сад и солнце. И читать.

А лечить ты не хотел?

Нет. Лечить я не хотел.

То есть, получается, ты не мечтал стать врачом?

Никогда.

А зачем же стал?

Я должен был стать врачом. Понимаешь?

Маля промолчала. Снова перевернулась на живот. Огарев достал из миски очередную черешню и положил Мале между лопаток – на тонкую полоску незагорелой кожи. Pale Fire. Нет. По-русски лучше. Бледное пламя. Великий провал гения. Страшно, что он заигрался так с языком. Словно забрел в немыслимую чашу. Земную жизнь пройдя до середины... Как будто язык отомстил ему. За что? Почему? За попытку подчинить? Только Цветаева еще была наказана так же страшно.

Дыр бул щыл убеш шур скум вы со бу р л эз.

Все, что есть у меня, – мой язык.

Маля засмеялась, свела лопатки, и черешня скатилась вниз, по позвонкам, к пояснице и подпрыгнула еще раз, пытаясь обмануть гравитацию и взобраться наверх.

Не трогай мою попу. И ничего вообще не трогай. Мы же разговариваем.

Давай перестанем?

Нет, не давай! Если ты не мечтал быть врачом, зачем стал?

Огарев поймал беглую черешню губами, безжалостно съел и пнул косточку за окно.

Потому что. А ты о чем мечтала?

Маля не задумалась даже на секунду – жить.

В смысле?

Я всегда мечтала просто жить, понимаешь? Это же самое интересное. Жить. Ехать. Останавливаться где хочешь. Снова ехать. Смотреть. Жить.

Она шлепнула Огарева по губам – не больно, но чувствительно. Нет, не приставай. Я же просила.

Это неинтересная мечта, сказал Огарев обиженно. К тому же она уже сбылась. Все живут. И я. И ты тоже.

Маля села в постели – резко, как будто Огарев ее ударил. Неожиданно и со всего маху.

Нет, сказала она очень серьезно. И Огарев вдруг первый раз понял, какие у нее глаза – не карие и не рыжие. Нет. Золотые. Девочка с золотыми глазами.

Я не живу. И ты тоже не живешь. Мы только хотим.

Италия поразила его, конечно. Зря Маля боялась. Он влюбился с первого взгляда. С первого вдоха даже. Куда там прочая Европа, весь остальной мир. Первой и единственной была создана Тоскана.

Огарев с тайным стыдом был вынужден признаться себе, что недалеко ушел от Марко Поло – все-таки представление о том, что за границей все не так, как у нас, засело в нем с самого детства, очень крепко, тихо и незаметно питаясь все нарастающей истерией последних лет. Конечно, можно не смотреть телевизор, не слушать радио, не читать новости в интернете, но перестать дышать было невозможно. Россия, традиционно то обожавшая Европу до угодливого виляния хвостом, то щетинившая на нее жесткую, свалывшуюся холку, снова неотвратимо сползала в темный свой период. Водила тяжелым лицом, прищуривалась. Искала врагов.

Огарев, которого в равной степени мучило и от правых, и от левых – в первые публичные ряды традиционно выносило самых несносных резонеров и просто откровенную полууголовную гнусь, – бродя с Малей по европейским музеям, вдруг понял точку, в которой российские правые и левые, сами того не ведая, соприкасались. Любовь. Конечно, они были влюблены. Он сам был влюблен, чего там. История неслась сквозь Россию, сшибая все на своем пути, срывая головы, стирая память, а в Европе – нет, даже не останавливалась. Просто обитала. Особенно в Италии, конечно. Зачем искать новое место для города, если здесь уже жили этруски? Зачем ломать дом, если ему всего тысяча лет? Итальянцы были вписаны в свой ландшафт, стали его сущностью, частью. Рим существовал сразу во всех проекциях, во всех одиннадцати пространствах и временах – и был при этом совершенно живой.

Огарев тоже хотел бы так. Жить. Просто жить. Не думая ни о чем.

Он подолгу останавливался у музейных стеллажей со знаками гильдий. Бляхи всех форм и размеров, иные – с хорошую суповую тарелку на увесистой, амбарной почти цепи. Лучший мясник города. Главный бондарь. В этом была понятная ему гордость ремесленника. Достоинство профессионала. Только не тихое, наоборот – напоказ. Огарев задумывался – а готов ли он носить на груди золоченый знак, на весь мир кричащий – вот, вот идет настоящий, всеми признанный, заслуженный доктор. Каждое утро открывать свою лавку своим ключом. Отпускать сосиски, взвешивать пряности, высекать статуи, отсчитывать сдачу, держать слово – просто слово. Невидимое. Невесомое. Крепкое, как вино. Говорить каждый вечер с Богом. Один на один. Неторопливо. Не жалуясь. Просто советуясь. На ты.

Нельзя было не пожалеть, что ты не часть этого мира, конечно. Нельзя. Нельзя было так далеко уходить отсюда.

Это все потому что у нас нет сыра, сказала вдруг Маля. Что – это все? – не понял Огарев. Ну вот это – Маля махнула головой, немедленно потеряла заколку и засмеялась. Заколка запрыгала, как живая, под ноги официанту, который тотчас ловко, с щегольской легкостью наклонился – профессионал. Огарев даже дернуться не успел, как Маля уже закалывала волосы снова. Закатное солнце, медь, музыка, мед. Прекраснейшее из зрелищ. Официант сказал что-то с пулеметной скоростью, по кошачьей физиономии ясно, что комплимент, и Маля такой же скороговоркой ответила. Английский свободно, итальянский – очень хорошо, французский – не так чтобы очень, но в Париже точно не пропаду. Немецкий – бр-р. Не люблю. Огарев в который раз пожалел себя, немного, безъязыкого урода. Язык – это была свобода. Маля – это была свобода. Оказывается, этому надо было учиться с детства. Он не знал. Никто из них не знал. В мединституте, когда он учился, курс иностранных языков просто отменили. Боялись, что они поразъедутся, расползутся шустро, как тараканы. Позорно сбегут. Некоторые и правда сбежали. Выбрали не себя даже – своих детей. Вырастут чужими, иностранными, стесняясь неудалых родителей, местечкового их акцента, местечкового же неумения быть счастливыми. Просто быть.

Маля была часть этого дивного мира. Он – нет.

Но ничего, наверстает. Все еще впереди.

И что тебе сказал это тип? – спросил Огарев, изображая грозную ревность. На самом деле ревновать было глупо – итальянцы отлично смотрели на женщин, очень правильно. С восторгом и аппетитом. На еду они смотрели точно так же. Мале вслед цокали восторженно языком, местные стариканы таяли от нее, как дворняги от случайной поглажки. Один, в моторизованной инвалидной коляске, любовно огладил глазами Малины коленки, бедра, шелковый сарафан. Одна бретелька вечно сползала, она вечно ленилась поправить. Незагорелая кожа. Загорелая кожа. Как экстрасистола. Головокружительный сердечный перебой. Маля улыбнулась старику, она всем улыбалась, и он, ловко развернувшись у перекрестка на своей жуже, проехал мимо еще раз – влюбленный, красивый, девяностолетний. На руле трепыхался флаг его родины – зеленый, белый, красный. Тоже триколор, но какая разница. Огарев прикинул, что бы могло заставить его в девяносто лет примотать к инвалидной коляске государственный флаг, но не смог найти ни одной причины. Разве что еще одна великая отечественная война. Хипстеров со скинхедами. Но за кого бы он ни пошел воевать, такой крутой коляски ему все равно бы не выдали. У него на родине в девяносто лет не катались по улицам и не кокетничали с девушками. У него на родине вообще не было инвалидов. Они смиренно гнили по интернатам. Братская могила, братское сердце, Братская ГЭС.

Так что это было? – повторил он. Ты про официанта? Он сказал, что я похожа на мадонну. Ну, не совсем на мадонну, но на одну ее часть. Не очень приличную. Это был комплимент, если что. Очень даже уважительный. Маля засмеялась еще раз. Все время смеялась. И так же легко плакала. Часто. Он должен был обратить внимание. Должен был понять. Идиот.

Нет, я не про официанта. Я про сыр. При чем тут сыр?

Ну как же, сказала Маля. Это же совершенно ясно. У нас нет сыра. А у них – есть. Она для убедительности подхватила с деревянной доски кусочек пекорино и, обмакнув в варенье, сунула в рот. Очень вкусно. Никогда не думала, что такие бестолковые существа, как овцы, могут делать такой изумительный сыр.

Овцы не делают сыр, Маля. Сыр делают люди, сказал Огарев.

И вдруг понял.

У них действительно не было сыра. Своего сыра. Твердого, слезящегося, без дырок и с таковыми. Сладковатого, соленого, пресного, с трюфелями и красным перцем. С плесенью голубой и белой. Без плесени вообще. С могильными червями.

В России просто не делали сыр.

А варенье ты пробовал? – тормошила его Маля. Официант сказал, что это из лука. Попробуй, правда очень вкусно. Ну что ты вцепился в ноутбук опять? Что там такое? Пациенты? Они что, не могут потерпеть? Ты же в отпуске, в конце концов.

Нет, не пациенты. Минутку погоди, пожалуйста.

Маля надулась обиженно, но попробовала вина, оливку, еще вина – и немедленно утешилась. А Огарев прыгал по ссылкам, потрясенный своим простым и страшным открытием. Сыру было семь тысяч лет, это если навскидку. В 1750 году до нашей эры кичливый вавилонский царь Хаммурапи настоятельно рекомендовал своим подданным ежедневно есть сыр и хлеб, запивая их пивом. Вот, оказывается, почему у них были такие толстые львы. Сыр знали на Востоке и в Азии. Древняя Греция, Древний Рим. Средневековая Европа обжиралась сыром. Монахи придумывали сорт за сортом, пейзане постигали тайны и тонкости ферментации. Варить до загустения, помешивать, переливать. Пеленать как младенца. Выдерживать – вот оно, самое главное – выдерживать месяцы и месяцы. Три, шесть, девять, двенадцать, тридцать шесть. В одной из лавок они с Малей попробовали пармезан пятилетней выдержки. Он был цвета глины и янтаря. Крошился в пальцах. Пять лет ожидания. Они все верили в то, что у них есть будущее. Все до одного. Даже самый ничтожный средневековый смерд знал, что у него есть мизерные, но права. Его нельзя было убить просто так – как скотину. Он мог стать горожанином. У него был сыр. Он верил, что через двенадцать месяцев его дом, его жена, его дети и его сыр все еще будут тут, на этой земле.

В России делали только творог. Он был готов уже к утру. И к вечеру – скисал. Но до вечера надо было еще дожить. На большее никто не надеялся. Какой уж тут сыр? Какое столетнее вино? Зачем пустые надежды людям, у которых нет никакого будущего?

Сыр Россия узнала только при Петре. Он привез сыроваров из Голландии, он много чего привез, бедный издерганный человек, психопат и труженик, вот уж не хотел бы я жить при таком царе-батюшке, а без него и подумать страшно, что было бы с Россией. Сыр прижился, и неплохо, но навек остался иноземной забавой, причудой свободных людей, которым нечего делать, только сидеть и ждать, пока жидкое превратится в твердое, а из молока и надежды родится будущее – и сыр.

Огарев захлопнул ноутбук.

Стемнело, и заботливый официант принес Мале свечку, плавающий в розовом стакане живой огонек, и плед, от которого она с негодованием отказалась. Ей было жарко. И тесно. Всегда. Горячая, влажная, она отчаянно пихалась ночью, толкалась живыми и гладкими ногами, как будто пыталась родиться еще один раз. Еще один пропущенный симптом. Еще один.

Огарев посмотрел на крошечный городок, который был на тысячу лет старше Рима и нисколько этим не кичился. Просто жил себе и жил. Берег себя сам, не надеясь на других. Огорченный тем, что плед не пригодился, официант притащил вин санто (он так и сказал – вин санто, святое вино) и хрупкие сухие бисквитики. За счет заведения. Этот дар Маля милостиво приняла, немедленно окунула бисквитик в рюмку, чмокнула от удовольствия – и официант обрадованно закивал, перфетто, перфетто!

Ну хоть это попробуй, укорила Маля. Ты же видишь, человек старается!

Огарев бросил в рот сухарик – ничего особенного, если взять кулич, подсушить в печке и обмакнуть в кагор, выйдет то же самое. Они тут все были крестьяне, самые обычные крестьяне и горожане, экономии на всем, считали монетки, затягивали пояса. Доедали вчерашнее, делали сухари, радовались мясу по праздникам. У них было побольше войн, чем у нас, и сволочей у власти ничуть не меньше. Двадцатый век проехался по Европе так же страшно, как по России. Но вот они – улыбаются, пожалуйста. Устраивают музейные экскурсии для своих умалишенных, сортиры – для колясочников, ругают политиков, делают сыр. Живут.

Огареву вдруг стало больно. Так больно, как будто у него отняли целую жизнь. И не только его собственную. Это было как будто прооперировать слепого – и тотчас же спокойно выколоть, не выколоть даже, а вылущить ему глаза. Чтобы он, несколько минут видевший свет, не смог забыть никогда. Никогда не забыть. Никогда больше не увидеть.

Ты не заболел? – спросила Маля испуганно.

Нет, ответил Огарев.

И поздно ночью, когда, засыпая, она пробормотала как заклинание – тут так хорошо, давай останемся навсегда? – сказал, не задумавшись ни на секунду.

Нет.

Они поссорились в первый раз. То есть не вообще – но в первый раз так серьезно. Маля стучала кулаком по подушке, голая, растрепанная, и кричала – ну почему? Я не понимаю? Почему? Тебе же здесь нравится! Нам обоим нравится! Дом можно снять, ну, не дом – квартиру, махонькую, но с садом, ты же сам хотел читать – и чтобы сад! Книжки можно контейнером из Москвы отправить, выйдет недорого! Я найду недорого в интернете!

Огарев не выдержал, вскочил, рванул на себя простыню, замотался – только женщина может позволить себе орать голышом. Да и вообще орать, если честно.

Чем. Я. Здесь. Буду. Заниматься.

Спросил отдельно, очень тихо, сам пугаясь того, как стремительно поднимается изнутри подзабытый уже холодный, неторопливый гнев. Тринадцать лет этого нутряного, страшного холода с женой. И снова? Этого только не хватало!

Да жить ты здесь будешь! Просто жить! Вместе со мной.

На какие шиши?

Маля смотрела непонимающе, как ребенок, – даже рот приоткрыла от удивления. Верхняя губа чуть припухла. На лбу и на щеках – тяжелые завитки.

Но у нас же есть деньги, Ваня. Ты что? О чем ты говоришь?

Это у тебя есть деньги! И даже не у тебя! У твоего отца! А у меня есть только моя голова и мои руки! И еще толпа пациентов, из которых большая часть – дети! И я должен бросить их всех только потому, что какая-то девчонка, которая в жизни своей копейки не заработала...

Это уже был не гнев, конечно. Настоящая ярость, больше не холодная наконец. Как в детстве. Совершенно как в детстве.

А о практической стороне дела ты не подумала, конечно? На каком основании ты вообще собираешься здесь жить? Нелегалом? Или намерена получить итальянское гражданство? А ты в курсе, что на это полжизни можно положить и ничего не добиться? Потому что рай, дорогая, не резиновый! Именно поэтому идиоты и придумали патриотизм. Иначе все бы давно переехали в Тоскану!

Огарев трясущимися руками вытянул из рюкзака ноутбук – кинул ей на постель. На, почитай, в своем интернете, если не веришь! Найди, чтоб побыстрее и недорого!

Он опомнился только снаружи, в саду, все еще кутаясь трясущимися руками в простыню, которая, словно устыдившись итальянской луны, вдруг перестала выглядеть мятой тряпкой, а легла глубокими синими складками, словно хрящ, пытающийся вернуться к прежней своей, естественной, первоначальной форме. Тога, господи. Как глупо. Тога. Влага. Нега. В саду, не

смешиваясь, а лишь слегка соприкасаясь плечами, как в строю, стояли строгие запахи шалфея и розмарина, но стоило Огареву пошевелиться, как откуда-то на мгновение появилась мята, бледная, еле уловимая, нежная. И тут же исчезла, словно красавица, торопливо, не поднимая глаз, перебежавшая замерший плац.

Лавровая изгородь, черная, острая, словно жестяная, наоборот, совсем не пахла, только покалывала ладонь и, оказывается, таила в себе кошку, пугливую итальянскую нелюдимку, которая ткнулась Огареву в голые ноги, легко, едва заметно щекотнув теплым мехом.

Я идиот все-таки. Ужасный идиот, признался Огарев кошке, но она уже исчезла, бесшумно, не оборачиваясь. Зато тихо хрустнуло, открываясь, окно – и из спальни выглянула Маля, даже отсюда, снизу, видно, что заплаканная.

Тень от деревянных ставней лежала на ее плечах, как призрак прозрачной шали, укрывшей когда-то другие плечи, такие же красивые, может быть, но давным-давно истлевшие.

Я травой и облаком был. Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду.

Иди домой, сказала Маля просто.

И Огарев вдруг – сам не зная почему – до оторопи испугался.

Они проспали предрассветный короткий дождик, едва сбрызнувший сад, и город, и траву, сам рассвет, завтрак, все на свете, обнявшись так крепко, как будто боялись, что их могут растащить. Потом долго-долго пили кофе в огромной прохладной кухне, делая вид, что ничего не случилось. Наконец Маля отставила чашку и сказала весело – а поехали куда глаза глядят?

И Огарев понял, что ничего действительно не случилось.

Только, чур, никаких карт, никакого навигатора. Кондиционера даже! Маля сноровисто выдернула из прикуривателя том-том, спрятала в бардачок и, перегнувшись через Огарева, одним щелчком кнопки открыла в машине все окна. Горячий воздух ахнул от радости и рванул к ним со всех сторон – цикадный, соломенный, звонкий, совсем-совсем деревенский. Дорога, типичная тосканская проселочная вертушка, шуршала, пряча за каждым поворотом сюрприз – хлопотливых удоов (смотри, смотри, какие нарядные!), щегольскую «альфа-ромео», никак не желавшую уступать, степенный виноградник, отметивший каждый ряд розовым кустом, словно это не ряд был – а шаг, исполненный тихого достоинства... Маля долго огорченно цокала языком, когда узнала, что розы высаживают вовсе не для красоты, а для того, чтобы вовремя заметить мучнистую росу. А потом успокоилась и упрямо сказала – но все равно же красиво!

Город выпрыгнул на них неожиданно – из-за очередного поворота. Как будто кинулся наперерез. Невероятный, крошечный, древний, сотнями каменных сот, обрывающийся прямо в пропасть. Маля закричала – стой, стой! – и выскочила едва ли не на ходу, пока Огарев, сам обмерший от восторга, торопливо парковался, соображая, сколько водителей, должно быть, нырнуло прямо здесь в бездонный обрыв, до самой встречи с Богом не переставая глупо и радостно улыбаться.

Маля стояла на самом краю ничем не огороженной площадки, прижимая к пылающим щекам маленькие ладони, и ветер игриво рвал ее за подол, как будто уговаривал шагнуть вниз – и полететь. И точно так же ничем не был огорожен город, словно возведенный на самой вершине скалы обезумевшим древним Диснеем, который долго, век за веком, выдавливал из кулака горячую глину, песок, ноздреватый, сияющий на солнце камень.

Citta del tufo.

Они долго бродили по улочкам, то и дело пытаясь привычно обняться, но стены были тесны им двоим в плечах, а в иных переулках Огареву и одному приходилось протискиваться почти боком, и он все оборачивался тревожно, искал глазами Мालю, замиравшую у каждой невесомой лестницы, у каждой тяжелой двери. Ночной страх вернулся, по-хозяйски положил

руку на сердце. Может, потому что улочки, становясь все уже, путались, петляли, пересекались. Но каждая безошибочно заканчивалась пропастью.

И еще – город оказался обитаем. Заполнен людьми, которые жили в этих немислимых декорациях, застывших с XI века. Огарев проводил глазами старуху, всю в черном, идущую за покупками уже целую тысячу лет. Да нет, не застывших. Как они могут? Честное слово, не понимаю.

Парапет они нашли только один – у центральной площади, осененной мрачным замком Орсини. И Огарев с облегчением положил руки на камень, такой надежный, доходивший, слава богу, Мале до груди. Почти до груди.

Смотри, Маля показала золотистой, пушистой на свет рукой – вон, видишь? Наш дом. Огарев мазнул глазами невнимательно – щеки у Мали тоже были пушистые. Шкурка бабочки. Ты не туда смотришь – Маля дернула его за ухо. Во-он там. Огарев всмотрелся наконец – и нашел в долине крошечный отсюда домик. Это просто какая-то ферма, Маля. Отсюда не видно. Мы же свернули раз сто. И потом, это не наш дом...

И ты в этом виноват!

Маля вдруг вспыхнула от никуда не девшейся, оказывается, обиды и побежала в переулочек, звонко, как первоклашка, шелкая сандалиями. Огарев бросился следом – но улочка была пуста, как в сбывшемся кошмарном сне, и только синело над головой узкое, как след долота, ослепительное небо.

И такая же, узкая, страшная, стояла впереди пропасть.

Огарев схватился за сердце – жест, который не простил бы за мелодраматичность ни одному, даже великому режиссеру. Мне всегда думалось, что ломание рук – жест вымышленный или, может быть, смутный отклик какого-нибудь средневекового ритуала...

Ваня, Ваня, иди скорей сюда!

Маля нырнула на мгновение из какой-то невидимой Огареву щели – румяная, растрепанная, совсем не сердитая. И снова исчезла.

Господи. Всего-навсего старая синагога. Ну, шестнадцатый век, и что с того? По сравнению вот с этим домом – новейшие времена. Маля стояла, надувшись, у громадной неприступной двери. Закрыто, разумеется. Обед. И слава богу. Второй час. Пошли и мы пообедаем, а то я уже, честно говоря, голодный.

Маля, не отвечая, дергала все двери в крошечном переулочке подряд, словно надеясь на чудо, и – оп! – снова исчезла, но на этот раз Огарев точно видел, куда она нырнула, и, ворча, пополз вниз по опасным даже на вид ступенькам, рассчитанным на мелкий, непривычный, средневековый шаг.

Лавка. Всего-навсего лавка. При синагоге. Бутылки кошерного вина, магнитики, крошечные уродливые копии города, взгромоздившиеся на целлулоидные постаменты. Сделано в Китае, разумеется. Включая вино. Прибежище для глупых туристов. Маля стояла, едва не касаясь макушкой беленого сводчатого потолка (Огареву пришлось основательно пригнуться – черт побери эту эпоху рахитичных дистрофиков), и бойко болтала с немолодой, ненормально красивой итальянкой, очень полной, легкой, как будто даже слегка парящей над прилавком. На запястье ее, пухлом, прохладном, позвякивал как минимум десяток браслетов.

Синагогу откроют только завтра, перевела наконец Маля и огорчилась так явно, что итальянка всплеснула руками (браслеты послушно, как отара, отозвались) и поспешила куда-то вглубь лавки, невежливо хлопнув дверью.

Чего это она?

Не знаю.

Ну тогда тем более – пойдем. Правда, Маля. Ты же сама знаешь, сейчас все рестораны закроют.

Но итальянка уже хлопнула дверью снова и поставила перед Малей тарелку, на которой лежала длинная тестяная штукавина, похожая на штрудель, только не с яблоками, а с какой-то темной, не слишком аппетитной начинкой. Маля просияла, обменялась с итальянкой еще десятком птичьих переливчатых фраз и осторожно попробовала лакомство.

Итальянка щедро придвинула тарелку и Огареву. Ну, плюшка. Тонкое пресное тесто, эта фигня внутри чересчур сладкая, вязнет на зубах, и если бы не пряности (Огарев честно силился понять, какие именно) и не орехи...

Это же баклева, сказал Маля у него за спиной. Тихо. Очень тихо.

Что?

Огарев обернулся.

Бледная. Очень бледная. Почти как потолок. На заострившемся от непонятого Огареву волнения личике – веснушки, обычно едва заметные, но теперь проступившие разом, вдруг, будто сыпь.

Баклева. Мама готовила. Пекла на праздник. Точно такое же. Только называла – баклева.

Ну и что? Огарев честно не понимал. Ну, готовила. Ну, называла. Вон, тут в каждом супермаркете продают салат оливье, только называют его – русский.

Итальянка с интересом прислушивалась к звукам незнакомой уродливой речи.

Варвары. Гунны. В очередной раз бредущие на Рим.

Маля развернулась и быстро, очень быстро, на ходу смахивая слезы, пошла к выходу.

Сначала она просто плакала, не снисходя до объяснений и отказываясь последовательно от обеда, от возвращения домой, от утешений, и то, что ты сейчас предложишь, я тоже не хочу. Моргала часто-часто, пытаясь загнать слезы внутрь, но все напрасно. Я и говорю – все напрасно!

Потом вдруг успокоилась и твердо сказала – мы будем здесь ночевать! И Огарев как дурак носился по немислимой паутине этих проулков, пытаясь разыскать хоть один отель, пока не сообразил наконец включить ноутбук и забронировать номер по-человечески. Маля, обычно такая живая, сидела рядом, чугунная, как столик, на котором стояла перед ней нетронутая чашка кофе. На обед они опоздали, конечно. Все закрыто до шести. Ну хочешь, я бутерброд тебе какой-нибудь у бармена попрошу? Панини какой-нибудь?

Нет. Не хочу.

И зря! Огарев, бурча голодным животом, выпил свой кофе. Тогда пошли искать гостиницу.

Гостиница нашлась в двух шагах буквально – через дверь от бара, где они сидели. Ни вывески, разумеется, ничего, только колоссальная дверь и звонок, на который никто внутри не реагировал, как Огарев ни старался. Огарев в отчаянии саданул по двери ногой и тотчас, все из того же бара, будто вызванный этим звуком, вышел улыбочивый парень, небритый, наглый, оказавшийся – о, так это вы! добро пожаловать, синьоры, – то ли владельцем, то ли портье. Огарев, оснащенный только дикарским, из десятка фраз составленным английским, не понял. А Маля молчала. Просто молчала, и все.

Они поднялись в номер – в настоящую средневековую каморку, крошечную, еще меньше лавки с этой дурацкой баклевой. И ни отличный ремонт – Огарев даже присвистнул, заглянув в ослепительную ванную комнату, – ни подчеркнута современная мебель не могли замаскировать главного. Когда-то в этой лачуге ютилась громадная нищая семья. Ползали по глиняному полу шивые рахитичные дети, переругивались измученные теснотой и сыростью взрослые. Сопение, смрад, золотуха, роды, туберкулез.

Маля ничком упала на широкую – практически во всю комнату – кровать. И снова заплакалась.

Огарев вытягивал из нее эту чертову историю до самого вечера – по частям, как коренной зуб, вросший корнями в челюсть. С теми же усилиями. С той же мукой. С той же кровью. Окончательно все прояснилось (или запуталось) только вечером, почти ночью, после ужина, на который он Малю снова еле уговорил. Ну пожалуйста. Если не хочешь есть – просто посиди со мной.

Черная тень от шелковицы, черные резные листья фигов, черные фонарные кружева. Только вино – красное. Очень красное.

Нет, оказывается, это не просто баклева. Это готовила мама, только мама. А ее научила бабушка. У тебя есть бабушка, Маля? Нет, она давно умерла, я не видела ее никогда, и вообще – пожалуйста, не перебивай. Бабушку научила ее мама – перечислять можно было до Адама и Евы, да хоть до неандертальцев или трилобитов.

Ну, рецепт. Ну, семейный.

Нет же! Не ну!

Эта сладость – из лавки, она только отсюда, понимаешь? Никто и нигде такого больше не делает. Местный специалитет. Называется – Маля быстро произнесла что-то по-итальянски, Огарев не понял, переспросил. И она повторила медленно – *sfratto dei Goym*. Дубина гоев. Тут была община, еврейская, очень большая – ну, по тем временам, понятно, большая, эта тетка в лавке сказала, что один из Орсини пригласил себе врача, еврея, очень толкового, а тот притащил за собой потихоньку родственников, друзей. И они расселились по всей долине.

Огарев кивнул – это было понятно. Понятная история. В двадцать первом веке все то же самое.

А в шестнадцатом веке, в шестнадцатом – Маля вдруг схватила бокал и выпила жадно, в два глотка, пытаясь успокоиться. Они все перессорились, только я не очень поняла почему, и был погром, просто ужасный, всех евреев согнали сюда, в город, в гетто, дубинами. Дубинами? – удивленно переспросил Огарев. Это было очень русское слово. Медвежье. Эх, дубинушка, ухнем! Да, вдруг закричала Маля, дубинами, и потом те, кто остался, придумали эту сладость, ну, на память, чтобы не забывать, и назвали ее – дубина гоев.

Очень поучительная история, хотел пошутить Огарев, но Маля снова затряслась, крупно, как будто замерзла, и он промолчал. Слава богу – промолчал. И что же дальше, Маля, спросил осторожно. Почему ты плачешь? То есть людей очень жалко, конечно, – евреев или хоть кого, но, знаешь, бывали переплеты и помрачнее...

Они ушли отсюда после этого, тихо сказала Маля. Как ты не понимаешь! Ушли! А рецепт унесли с собой.

Кто ушел, Малечка?

Мои предки.

Ушли! Понимаешь, взяли – и просто ушли!

Она снова побледнела так сильно, что на секунду Огарев испугался, что она потеряет сознание. Официант забрал счет и посмотрел на Огарева с карей укоризной. Как можно было довести такую красавицу до слез!

Огарев и сам не знал – как можно. А еще – как можно нести такую ерунду.

Да что на нее вообще сегодня нашло?

Он осторожно взял Малю за руку. Пошли погуляем немножко перед сном, хочешь? Ошибка. Еще одна ошибка. Громадная. Практически роковая.

Ночью город стал страшным по-настоящему, гулким, пустым. И только слой за слоем медленно опускался с неба туман, как будто все, кто умер здесь за тысячи и тысячи лет, торопились вернуться домой к ужину.

Ты хочешь сказать, что твоя мама была еврейка, Маля? Огарев заговорил, только чтобы не слышать, как эхо от их шагов, дробясь, отражается от стен.

Я не знаю, сказала Маля просто.

По тебе не особенно скажешь, если честно. То есть мне, конечно, совершенно все равно – еврейка, татарка, да хоть... Огарев замолчал, опасаясь ляпнуть бестактность. Еврейка, господи. С таким-то курносим носом.

Она исчезла, понимаешь? Маля вдруг заговорила, торопясь, давясь даже, словно хотела уже, но просто не могла остановиться. Просто исчезла, когда мне было пять лет. Но я ее помню. Хорошо помню. Даже очень хорошо. И баклеву помню, она готовила и меня учила.

Кто исчез, Маля?

Мама.

Тихо, с таким отчаянием, словно до сих пор не могла поверить.

Мама!

Погоди, как это исчезла?

Совсем.

Маля остановилась и посмотрела на Огарева круглыми совершенно, непроницаемыми в темноте глазами.

Просто ушла и не пришла. Папа сказал, что она шалава и нас бросила. Он один меня воспитывал. Так никогда и не женился.

Маля помолчала и очень просто прибавила – он убил ее, я знаю. Наверняка убил. Но я все равно ее помню.

Огарева вдруг продрало длинной медленной дрожью. Как будто судорогой. Вторая бутылка вина была явно лишней. Они с Малей стояли совсем одни на площади, такой маленькой, что Огарев, раскинув руки, пожалуй, мог дотронуться до двух противоположных домов, темных, глухих, будто вымерших еще в XVI веке. Вот в эти двери, должно быть, стучали дубиной. В эти тяжелые вечные двери. Площадь сомкнулась еще теснее, словно пыталась сжать их в каменном кулаке. Посередине, прямо из брусчатки, торчал странный камень, потрескавшийся, круглый, и Огарев, уводя Малею – пойдем-ка спать, милая, завтра договорим и во всем разберемся, – тихо изумился, кому могло прийти в голову притащить сюда мельничный жернов. Или пресс для масла, что ли?

Длинный язык тумана мазнул их по головам, Маля зябко передернула плечами, и Огарев, еще раз для верности оглянувшись, вдруг понял. Не жернов нет. И не пресс. Плаха.

Там они его и подцепили, конечно.

Ночью у Мали была настоящая истерика, к утру исчезнувшая без следа, как и туман. Как и туман. Она с завидным аппетитом позавтракала и, сломив слабое сопротивление Огарева, поволокла его осматривать синагогу, ничем совершенно не примечательную. Музей и музей. Последних местных евреев выкурил в сорок третьем году Муссолини, и без этого подвига – редкостная дрянь. Маля лишь на секунду задержалась у одной из фотографий за пыльным мертвым стеклом – самой обычной, не то общинной, не то семейной. Огарев взглянул на всякий случай тоже – мужчины в хмурых пиджаках, кудрявые женщины, грустноглазый растерянный ребенок – ничего особенного, похожего, тревожного. Пошли дальше? Там у них печи еще какие-то. Она чуть нахмурилась при слове «печи», но тут же поправилась – а, это пекарня, наверно. Конечно, пошли. И они пошли. Но так и не увидели главного. Малино отражение, словно приклеившись к стеклу, долго еще лежало на чужой фотографии – как на могиле, ничком, совершенно без сил. Когда невозможно уже даже плакать. А потом потихоньку, медленно, растаяло.

Сама Маля улыбалась, щебетала, накупила у вчерашней итальянки своих гойских дубин, предварительно долго советуясь насчет рецепта. А, анис и цукаты! Ну конечно! Мама вместо этого добавляла вишню и варенье из роз. Это наш семейный рецепт. Получается, я тоже отсюда родом, представляете? Творила себе легенду.

Итальянка улыбалась и кивала, видимо, не находя в этом ничего удивительного. Туристы все чокнутые, это ясно.

Они уехали наконец, к огромному облегчению Огарева, и отпуск, такой долгий поначалу, вдруг заторопился, замелькал – и кончился. Но они уговорились, что приедут сюда непременно следующим же летом. И снова на месяц. А если повезет – то и на полтора. Огарев, точно знавший, что никаких полутора месяцев не будет – он и месяц-то вышибал из начальства с криками и угрозами уволиться прямо сейчас, – не перечил. Только сказал осторожно – там видно будет, Маля. Год – это долго. Вот если бы ты работала, ты бы меня поняла... А до следующего лета еще дожить надо.

И она посмотрела на него испуганно и умоляюще.

Она же действительно не работала, Маля. И даже устроиться не пыталась.

А он не понял. Снова ничего не понял, кретин.

В Москве все встало на свои места – крепко, надежно, как в пазы. Огарев впрягся в работу, Маля жила, просто жила. Они каждые выходные вырывались куда-нибудь, старательно, по большой, непонятной Огареву дуге обходя Италию.

Италия – это потом. В том году.

Ну, как знаешь, милая.

Правда, Маля стала плакать – пожалуй, уже слишком часто, но Огарев быстро научился успокаивать эти торопливые беспричинные слезы. Просто прижимал ее к себе и начинал покачивать, тихо-тихо, как маленькую, и она немедленно успокаивалась от этого мерного телесного тепла, как будто и правда была маленькая. Утомление вестибулярного анализатора. Центр торможения. Вздох. Отворачивающееся дитя.

И еще она пекла все время эту свою баклеву. И правда похоже. Почти тот же самый вкус. Нестерпимая, до зубного нытья сладость. Никогда не черствела, не портилась, только подсыхала. И правда дубина какая-то, честное слово. Давай лучше пиццу, что ли, закажем? А? Хочешь пиццу, Маля?

Смотрела через плечо, открывая духовку. Улыбалась сонно, ласково, будто никак не могла проснуться. И все искала глазами что-то у него за спиной. Что-то видимое ей одной. Далекое. Очень далекое.

Пиццу надо есть в Италии.

3 июля, когда все закончилось, Огарев, ослепший почти, совершенно чокнутый от горя, ночью уже, сам не зная зачем, открыл духовку. Пустить газ, наверно. Хоть как-нибудь все это прекратить. Любой ценой.

На противне лежали ровным румяным рядком плотные тестяные колбаски. Еще теплые чуть-чуть. Самую малость. Еще живые.

От Мали осталась только баклева.

Он поднял все свои связи – громадные связи успешного, честного врача, которыми он никогда не пользовался. По Москве поползло, зашпешило во все стороны – доктор Огарев, доктору Огареву, у доктора Огарева. Слово кто-то вел его имя – как неуклюжего ребенка – по ступенькам всех существующих падежей. Фээсбэшные генералы, рядовые рубоповцы, судмедэксперты, ушлые опера, доктора наук, работяги, менеджеры среднего и высшего, гастарбайтеры, продавцы, воры, даже один цыганский барон. У всех были дети, сопли, воспаленные миндалины, лихорадка неясной этиологии, головная боль, шишка, доктор, вот тут, и еще чешется ужасно, она у нас слабенькая родилась, думали – не выживет, не могу спать, есть, какать, тошнит все время, голова кружится, больно, так тоже больно, это очень опасно? спасите маму, доктор, я ведь не умру. Скажите – я не умру? Только не у меня на приеме. Смеялись с облегчением, переводили дух, заглядывали в глаза. Приходили сами, приносили детей, при-

водили своих, у своих тоже были соседи, бабушки, мамы, тети, двоюродные, совсем уже дальняя, на седьмой воде, кисельная родственная мать. Все, кому он помогал, все, кого вылечил, вылечил – и забыл. Просто пациенты. Спасибо, Иван Сергеевич, спасибо, спасибо, спасибо. Его имя расходилось, как круги по воде. Дальше, дальше, дальше, вопреки физике не затихая, а только набирая силу.

Огарев вдруг – впервые за свою практику – осознал, что может все. Действительно все. Достать любое оружие, скрыть следы любого преступления, он мог удариться в бега – и его бы прятали, мог раздобыть любой документ, одолжить сколько угодно денег, еще больше денег, наверно, мог не вернуть. Все что угодно. Сляпать фальшивку, сменить внешность, фамилию. Достать любую – действительно любую – вещь. За считанные часы. Он бы Кремль, наверно, мог обворовать безнаказанно, ну, может, и не безнаказанно, но его бы на руках носили даже в тюрьме. Даже на зоне нашлись бы его пациенты. Они были везде – раскланивались с ним в любом аэропорту, стояли на остановках, шли по улицам, подавали, слегка склонившись, баранину с розмарином, читали публичные лекции, приподнимались услужливо из правительственных кресел, бросали пульт управления страной, торопливо сдергивали пальцы с ядерной кнопки – чтобы позвать ему руку.

Иван Сергеевич! Вы меня помните?

Он не помнил.

Он не помнил.

Они ничего не смогли. Даже они.

Маля все равно умерла.

Ее не убили.

Она – сама.

Огарев все равно заставил возбудить дело. Начальник отделения, получивший в кратчайшие сроки столько взъелок и начальственных звонков, сколько не получал за двадцать лет своей насквозь порочной службы, готов был лично вышвырнуть – с какого там этажа, с девятого? значит, с девятого – любого, кто хоть слово мне еще. Хоть полслова. Сказано – ищем убийцу. Ну так ищем, хер ли тут с постными рожами сидеть! Все! Пошли все вон! Пшикал под язык нитрокор, ждал, когда изнутри по глазам ударит привычной тяжелой болью – значит, подействовало, значит, сейчас отпустит, значит, снова не в этот раз... В другой. Водка после нитроглицерина казалась теплой и мятной. М-мерзость... Наша служба и опасна, и трудна! – сочувственно рявкнул мобильный, предвещая очередного генерала, обязанного доктору Огареву – хрен знает чем, лучше б он тебя прибил, а не вылечил, сука ты назойливая, прибил и хлорочкой присыпал, есть, товарищ генерал, нет, пока ничего определенного, так точно, буду держать вас в курсе. И чего они все названивают, гады, чего еще хотят? Да мне Огарев сына единственного – от единственной любимой женщины, от Наденьки, не от жены, да все же говорили – только операция, а Огарев за полторы тыщи рублей, да я ему полторы тыщи баксов в минуту пожизненно бы платил, я же сразу сказал – номер прямой запишите, и не дай бог какие проблемы, Иван Сергеевич, не дай бог только подумает кто-то плохое про вас...

А он даже не позвонил – сразу наверх скакнул.

Не удостоил.

Сука.

Так точно, говорю. Так точно. Под моим личным контролем все. Только нет там никакого убийства. Сама сиганула из окна. И чего только дуре еще не хватало?

До опера, на которого все в итоге и свалили, дело докатилось в совсем уже непотребном виде. Двадцативосьмилетний парень, рыхловатый, с обманчиво милым лицом, которому для того, чтобы показаться интеллигентным, не хватало только одного – беспомощности, он катался в Безбожный, тьфу ты, в Протопоповский, конечно, переулочек как на работу. Бросал свеженькую «бэшку» у бордюра – наискосок, небрежно, как человек, который твердо знает,

что через пару лет будет кататься на «лексусе». Центральный административный округ, чо. Слава богу, не дурак. Не пальцем деланный. Опер задирает голову, в тысячный раз осматривая нарядную многоэтажку и мысленно прочерчивая траекторию полета. 3 июля 2012 года около 17 часов 30 минут возле 14-этажного дома по адресу Протопоповский переулочек, дом 10, обнаружен труп молодой женщины 1987 года рождения, проживающей в том же доме в квартире на 9-м этаже. Труп располагался около стены жилого дома на расстоянии трех метров. Следов на асфальте нет уже, разумеется. Смыло. Угловатый меловой контур, графика чьего-то ужаса и отчаяния, самый последний, самый быстрый посмертный портрет. Опер прикуривал, бережно баюкая в ладонях маленький огонек, – ему, чуть ли не единственному, плевать было на доктора Огарева, Огарев не лечил ни его, ни его родню, ни его знакомых. У опера вообще не было в этом городе родни, родня и Москва несовместимы. Холодечик, селедочка. Шашлычки на майские. Водочки выпьешь с шурином, а, Володь?

В Москве такого не бывает.

Опер тоже не верил в убийство – пока не встретился с Огаревым, добрый день, Иван Сергеевич, это Калягин из двадцать второго отделения, могу я с вами увидеться? Нет, это неудобно, лучше у меня в клинике. За час оба выкурили две пачки сигарет, причем на долю Огарева пришлось как минимум полторы. Здесь можно курить разве? Я думал... Огарев кивнул на бактерицидную лампу. Мне – можно. Опер быстро, привычно перескакивал с темы на тему, кружил по разговору, запутывая следы, подлавливая, будто пальпировал, искал внимательными пальцами больное место, ждал настороженно, где Огарев вскрикнет, напряжется, поморщится хотя бы, скрывая – что? Ну, допустим, боль. Очень характерный симптом. Знаете, как правильно определить локализацию боли у ребенка? На любой вопрос – где болит, ребенок отвечает – тут, до чего ни дотронься. Или вообще не умеет разговаривать. Или, еще хуже, безостановочно вопит, синий, страшный, весь состоящий, кажется, из одного восходящего, пузырящегося, нестерпимого крика.

От того места, которое действительно болит, ребенок попытается оттолкнуть вашу руку.

Огарев не попытался.

Все больше молчал. Да, нет, не знаю. Нужно – подчеркнуть. Белый халат, синие джинсы, кеды, веселенькие такие, как будто нарочно заляпанные разноцветной краской. Маля увидела на венской витрине, где-то в районе Ринга, заверещала от радости, потащила за руку в магазин. Смотри, какие потешные! Давай купим? Будешь ходить на работу. Ужасно, ужасно смешно! Опер пристреливался взглядом к кабинету: кушетка, раковина, кресло, похожее на зубодерное, стол, шкаф, какие-то непонятные приборы. Зверские даже на вид инструменты заботливо прикрыты салфеткой – отдыхают. Пяток мягких игрушек – странные какие-то, безобразные плюшевые комки. Наверно, чтоб дети не плакали, хотя от таких как раз точно заревешь.

Это что у вас?

Вирусы.

Не понял.

Огарев дотянулся до глазастого мохнатого шара – лилового, страшного, удобно посадил в ладонь. Начал, привычно принаравливаясь к уровню собеседника, – это вирус Эпштейна – Барр, довольно страшненькая, скажу я вам, штука, возбудитель инфекционного мононуклеоза. Американцы еще называют его – поцелуйная болезнь... Опер слушал разинув рот, как маленький, все-все понимая, точно так же, как они, сколько детей вышло отсюда, прижимая к груди не только новенький деревянный шпатель (доставался только самым смелым, кто не держал маму за руку и ни разу не заорал), но и настоящую драгоценность – будущую профессию, небольшую, неясную, самую первую мечту.

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Врачом.

Огарев поперхнулся, игрушки тоже купила Маля, заказала в Америке, ну вот еще, в Москве вообще ничего нельзя покупать, тут все ненормальное, даже цены. Они сидели на полу, разбирая посылку, рылись, рассыпая пенопластовую крошку, в картонной коробке – смотри, папиллома человека. А это? Вирус гриппа. Ой, хорошенький какой, просто прелесть. А вот это – желтенькое, как солнышко? Герпес. Фу, я думала – он совсем другой. А вот этот, розовый? Она держала за хвост пружинкой свернувшуюся пучеглазую бледную трепонему. Это сифилис, дурочка, брось немедленно, сифилис-то мне зачем, я же педиатр! Ну мало ли, я подумала, а вдруг? И потом, он такой жалостный – смотри, какие глазки. Правда, милаха?

Горячая живая шея под расстегнутой рубашкой, горячий квадрат нагретого солнцем паркета, за ухом, под завитком, кожа всегда влажная и горчит от духов.

Опер вдруг понял, что Огарев впервые за встречу смотрит ему в глаза – прямо, без всякого выражения, словно через прицел.

Опера дважды убивали – и оба раза не было так страшно.

Он встал, изо всех сил пытаясь не суетиться, что ж, спасибо, что согласились встретиться, еще раз выражаю свои соболезнования, вот на всякий случай моя визиточка. Крепкая, шершавая от бесконечного мытья рука. Из города пока не уезжайте, хорошо? Огарев посмотрел непонимающе, словно впервые осознал, что в кабинете не один.

Не убийство, говорите? Очень даже убийство. Оч-чень даже!

Все последующие дни опер землю носом рыл, наизнанку выворачивался, чтобы вывести Огарева в главные подозреваемые. Не вывел. Алиби было железное – в момент происшествия гр. Огарев И. С. находился в итальянском визовом центре, штампы, квитки, посекудная тарификация, десяток свидетелей – его все запомнили, все всегда запоминали, опер до истерики довел девчонку, что принимала у гр. Огарева И. С. пакет документов, вот – видите, паспорта, билеты, бронь гостиницы, аренда машины, да нет же, это он был, я на сто процентов уверена, что он. Поний хвостик, прыщики, раздувшийся от слез носик. Дура. Опер подержал в руках два паспорта – с годовыми шенгенами, пожал плечам. Черт их всех только за границу таскает, как будто медом намазано. Сейчас бы удочки – да с мужиками на Волгу недельки на две. Тихо, хорошо. Плотва плещется. Рассвет.

Нет. Не он. Не Огарев. Да говорю же вам, товарищ подполковник, сама выпрыгнула. Отрубите мне яйцо на горячем песке – сама.

Отец Мали прилетел через неделю после ее. После того как она. После. Надо думать, дела государственной важности задержали. Решалкин хренов. Огарев открыл дверь, посторонился, пропуская. Это была его квартира, в конце концов. Не Огарева, а Малиного отца. Его. Он за нее заплатил. Огарев протянул руку, подержал в воздухе, ненужную. Потом опустил. Ну понятно. Примак. Призаченный. Влазень. Животник. Здравствуйтесь. Отец Мали не ответил, прошел куда глаза глядят – на кухню, разумеется. А где еще поговорить двум русским, простите, советским людям? Огромный. Заплывший по мощному костяку розовым, сытым жиром. Судя по раздавленным ушам, когда-то борец. Может, и сейчас тоже борец. Но точно не с преступным режимом. Скорее уж, за него. Лицо плебейское, рыжеватое. Белесые реснички. Разожравшийся бандит. В Москве таких почти не осталось. Выбили в девяностые. А в провинции, значит, выжили. Пригодились даже.

Огарев искал среди могучих изгибов и рытвин Малю.

Нет. Ничего общего.

Совершенно ничего.

Кухня была чистая, стерильная даже. Никаких следов. Маля не готовила. Не умела. Только свою баклеву. Огарев тоже не умел. Есть – вот это она очень любила. А давай вкусненькое погрызем? Вечно хрустела чем-нибудь – огурец, морковка, тугой стебель сельдерея. Зажи-

мала зубами и вытягивала из него все живое по жилочке. Смешно, правда? Можно и яблоко – лишь бы твердое.

Огарев молчал. Малин отец – тоже. Оба смотрели в разные стороны – каждый на свою Малю. Огарев не выдержал первым. Уж слишком был виноват. Вы не устали с дороги? Малин отец посмотрел непонимающе. Очень дорогой костюм. Почти не измялся в самолете. Потом вдруг встал, вышел в прихожую – и вернулся без туфель, тоже очень дорогих. Разулся. Черные носки. Шелк и кашемир. Плотное облачко прелой ножной вони. Побоялся натоптать у дочки.

Ничего, ничего, Малечка. Не надо тапки. Я лучше босиком. Огарев понял, что сейчас заплачет, разрыдается даже, и потому засуетился, закрутился по кухне, воды, нет-нет, ничего, все нормально, просто воды, в Москве совершенно спокойно можно из-под крана, главное, подольше спустить, а то теплая, но Маля только бутилированную пила, вы не волнуйтесь, я следил, она не любила из-под крана, а кипяченая невкусная.

Малин отец все молчал, а потом вдруг спросил – ты ее видел? В морге – видел? Это точно она?

Огарев мотнул головой, это была просто судорога, конечно, настоящая судорога, которую можно было расценить как угодно – но Малин отец понял правильно. Помолчал еще, хотя в кухне и так почти не осталось места. Маля говорила, начал Огарев – и тоже замолчал. Потому что она ведь не говорила. Вообще почти ничего не говорила про отца. Папа. Он тебе не понравится. Почему, Маля? Потому что он жулик и вор. Что? А вот то! Навального, что ли, не читаешь? Не читаю и тебе не советую. В конце концов, это твой отец. У тебя тоже есть отец. И что с того?

Действительно, и что с того?

Документы ее где?

Огарев вышел, вернулся с папкой. Еле собрал в свое время. Выуживал из книжек, из тряпочек, шарил раздраженно по полкам. Маля, где твое свидетельство о рождении? Не знаю, а что? Это же важный документ, как можно! А если понадобится? Если понадобится – предъявлю им себя! Нельзя быть такой разгильдяйкой! Смеялась. Только смеялась. А потом еще плакала. Справка о неоконченном высшем, старые фотографии. Маленькая Маля. Маленькая Маля. Маля побольше. В колледже. В Лондоне. В профиль. Всегда одна. Вот. Свидетельство о рождении. Наконец-то. Родилась в 1987 году. Зеленоватая потрепанная бумажка. Теперь ее заберут. И выдадут свидетельство о смерти.

Огарев положил папку на край стола. Малина жизнь почти ничего не весила. Почти ничего.

Вот. Тут все, что я нашел. Хоронить все равно не позволят, пока не закончится следствие.

Какое следствие?

Я уверен, что это... Что ее...

Огарев понял, что не потянет еще одно объяснение. Просто не сможет выговорить слово «убийство». Малин отец смотрел, собрав мягкими рыжими складками невысокий лоб. Лысеющая макушка. Не челюсть – утюг. Веснушчатый, толстый, злой. Тупая сила.

Потом вдруг спросил – она таблетки, что ли, не пила? Бросила?

Какие таблетки?

Огарев вдруг испугался, по-настоящему испугался, как будто совершил что-то действительно непоправимое. Задел сонную артерию – тонкое движение. Доля миллиметра. Разбил любимую чашку отца. Или подтолкнул Малю к окну. Сам.

Не бойся, тут не высоко. И ничего не страшно.

Какие таблетки?

Этот, как его. Рисперидон. И еще какие-то. Не помню.

Рisperидон? Зачем? Какие таблетки?! Маля была совершенно здорова. То есть, конечно, она простужалась иногда, но это обычная респираторная вирусная инфекция... Нормальное явление. Никаких осложнений. Можете мне поверить, она ничем не болела, я врач...

Говно ты, а не врач.

Малин отец встал, сунул папку под мышку и пошел в прихожую. Огарев почти бежал за ним, ничего не понимая, не чувствуя трясущихся рук.

Какой рisperидон?! Вы о чем вообще говорите?! Огарев лихорадочно вспоминал, шуршал каталожными карточками, справочник Машковского, регистр лекарственных средств, Видаль... Сердце? Может, сердце? Губы розовые, ногти, склеры, нет, никакого цианоза. Под ладонью стучит ровно, часто...

Тук-тук.

Малин отец поискал глазами ложку для обуви, не нашел, с усилием вбил отекавшие стопы так, помогая пальцем. Распрямылся, багровая венозная кровь налила лоб, щеки, даже пороссячи белесые глаза.

Ключи консьержу забрось, внизу. Я завтра заберу. И мебель хоть оставь, врач.

Он прихлопнул дверь – без злобы. Просто поставил точку.

Огарев подошел к полке, вытянул Машковского, провел незрячим пальцем по алфавиту. Ра, ре, ри...

Рisperидон.

Действующее вещество. Производное бензизоксазола. Белый с бежевым оттенком порошок, практически нерастворим в воде, легко растворим в метилхлориде, метаноле и соляной кислоте.

Показания. Шизофрения (острая и хроническая) и другие психотические состояния с преобладанием продуктивной (бред, галлюцинации), негативной (притупленный аффект, эмоциональная и социальная отрешенность) или аффективной (тревожная депрессия) симптоматики.

Шизофрения.

Нет. Конечно, нет. Этого просто не может быть.

Письмо пришло только через четырнадцать дней. Две недели! Маля наверняка хотела, чтобы раньше, но у «Почты России» свои отношения со временем и пространством, эйнштейновские почти. Да нет, какой там Эйнштейн. Квантовая физика Планка. Огарев держал в руках белый тонкий конверт – дата отправления просто и страшно совпадала с датой Малиной смерти. Значит, перед тем как умереть, сходила на почту – свернула за угол, потом еще раз, шла сквером, смотрела на мамаш с колясками, боялась, должно быть, передумать. Просто боялась. Потом стояла в очереди на почте – они оба стояли в тот день в очередях, Огарев – в визовом центре, Маля – в почтовом отделении. Как она рассчитала все, с какой нешизофреничной точностью, как, должно быть, хватал ее за горячие плечи мамин призрак, как тянул за руку, как пытался остановить. Мама работала на почте. Маля была на почте, когда почти уже умерла.

Огарев смотрел на синие, не очень ровные строчки адреса и думал, что вот – они прожили вместе два года. Нет, не так – он любил ее два года, целых два, без нескольких месяцев, которые теперь не заполнить ничем, никогда. Еще не написанные, но уже вырванные страницы. Два года – и он первый раз видит ее почерк. До этого – только смешная закорючка. Маля, подпиши тут и тут. Хорошо. Высовывая язык. По-детски ожидая похвалы за что-то пустяковое, скучное, но выполненное с неподдельным рвением.

Я молодец?

Молодец, молодец, конечно. Пойдем скорее.

Малин почерк. Синие круглые буквы с уклоном влево. Буква «д» в слове «доктор» с застенчивым завитком. Доктору Огареву И. С.

Маля написала на клинику, понимала, значит, что он не останется в их квартире в любом случае, все понимала – и про него самого, и про своего отца. Нарушение мышления, говорите? Спутанность сознания? Проблемы с адекватностью? С эмоциональной сферой? Засмеялась, встала на цыпочки, потянулась поцеловать. Как всегда – на прощание. Нет-нет, через порог нельзя. Такая горячая под рубашкой. Огарев свободной и совершенно слепой рукой нашарил дверную ручку, черт с ними, опоздаю на полчаса, и целую минуту они как будто танцевали в прихожей, целуясь. Она – изо всех сил зажмурив глаза. Два осторожных шага в сторону. Приставной. Еще два. Маля вдруг спохватилась, оттолкнула его, нет, даже не оттолкнула – отодвинула, упираясь ладонями в грудь. Поняла, куда ведет это танго – в сторону спальни. Если дотанцуем, конечно. Как всегда. Как всегда.

Нет! – сказала она твердо. Нет. Это же Италия! Опаздывать нельзя. И он, огорченный, разочарованный, в неудобно оттопыренных джинсах, поцеловал ее еще раз. Теперь уже точно – на прощание. Ладно. Вернусь – и тогда никаких отговорок. Она не ответила – смотрела, смотрела, смотрела, вздрагивая ресницами. Широко открыв золотые свои, чуть-чуть испуганные глаза. Понимала, что если бы они тогда занялись любовью, если бы они тогда...

Он бы умер просто. Не смог пережить. Точно – не смог бы.

Она все понимала. Все. Она позаботилась. До последней секунды думала о нем. О них. О нас. Не о себе. Если это и есть шизофрения – я рекомендую ее всем.

Огарев зажмурился – и открыл конверт.

Там была фотография – одна. Цветная. Ферма, на которой они жили в Тоскане. На которую смотрели со стены города, промахнув глазами пропасть, в том числе и пропасть времени – чтобы не закружилась голова. Тысячи лет истории под ногами. Столетние камни парапета, легкая, ласковая Малина рука. Домик и еще домик – поменьше. Синее пятно бассейна, курчавый растрепанный сад. На кухне, огромной, прохладной, тихо ждали сыр, помидоры, персики и бутылка вина. Еще одна пряталась у Огарева в рюкзаке. Волшебный голос верментино.

Пойдем? Нет, подожди еще секунду. Я хочу сфотографировать.

Маля, тихо ругая упрямую сумку – не то, опять не то, да что ты мне все время ерунду подсовываешь? – добыла старенький фотоаппарат, который любила так, как любят только вышедшие в тираж, никому не нужные и оттого особенно родные вещи. Слава богу, хоть не пленочный. Неожиданно долго прицеливалась, искала ракурс – или просто смотрела. Любовалась. Никак не могла отвести взгляд. Запоминала. Теперь Огареву казалось – просто запоминала.

Самое начало сумерек. Медный тосканский свет. Дом, в котором хочется жить.

Огарев потянул ее – хотелось поскорее вернуться, чтобы ужинать, долго-долго, пока не стемнеет. Сидеть за столом на улице, пить вино, нежничать, говорить. Смотреть, как толстый геккон лежит, свесив хвост и лапы, на макушке круглой лампы, и вокруг его неподвижной головы вьются, то вспыхивая, то становясь громадными, шерстяные ночные бабочки. Маля говорила – наш геккон. Смотри, смотри – он как в спа прямо. Пузо себе греет! И заодно харчится. Очень удобно.

Геккон и правда был – их. Все было их. Все вокруг.

Огарев тянулся, почти непроизвольно – поправить волосы, поцеловать, просто дотронуться. Она была в коротком летнем платье ночного цвета – цвета фонарей, теней стволов, лоснящейся панели: бледнее рук ее, темней лица. Даже Бог не скажет точнее. Не сможет. Разве что тихонечко напоеет.

Один раз из кустов выскочила пара перепутавшихся ящериц. Та, что побольше, вывернулась и, вцепившись в хвост маленькой, вдруг принялась хлестко, наотмашь лупить товаркой по ноздреватым плитам дорожки. Как будто пылливый пьяница, колотящий таранью о край распивочного стола. Маля заахала, вскочила.

Ой, что это? Что они делают?

Пусть их. Они дерутся.

Ящерицы смылись обратно в кусты, непримиренные, а они с Малей все сидели и сидели, каждый вечер, осененные невидимыми летучими мышами, торопливо снующими в темном воздухе (заметишь, только если она на мгновение затмит звезду), и вино все не кончалось, сливы и черешня все так же лежали на глиняном блюде, и не кончалось самое главное – ощущение бесконечности, очень правдивое и простое. Как будто Бог создал не их самих, а все вокруг. Только для того, чтобы они это запомнили, полюбили. Просто увидели.

Пойдем, ну пожалуйста! Все равно ты никогда не напечатаешь эту фотку!

А она напечатала, значит.

Мобильный зазвонил истошно – будто ударил Огарева по ушам. Двумя открытыми ладонями, быстро, зло. Как урка. Резкое повышение давления в слуховых проходах. Баротравма барабанных перепонок. Разрыв. Глухота. Болевой шок.

Огарев Иван Сергеевич? Визовый центр беспокоит. Ваши документики уже дней десять как готовы. Будете забирать?

Фотография все еще лежала на ладони. Август в Италии. Спланированный заранее. Любовно, бережно. Каждый день. Огарев вдруг понял, что не знает, похоронили Малю или нет. Отец увез ее – забрал из морга, маленькую, холодную. Одну. Может, запер в комнате, запретил плакать, подходить к телефону. Может, сжег. Лучше бы сжег. Она сама так хотела.

Спрятала фотоаппарат в сумочку и попросила – пожалуйста, когда я умру, сожги меня и вот тут вот выпусти. Ладно? Просто со стены стряхни. Мне будет хорошо.

Огарев засмеялся и поцеловал ее в волосы. В горячую макушку. Ты не умрешь, пообещал он. Даже не надейся. Не умрешь – и все. Она кивнула, очень серьезно. Как будто поверила. И сказала – вот тогда в последний раз. Именно тогда.

Давай останемся тут навсегда?

И он, подумав, снова ответил – нет.

В визовом центре Огареву выдали еще один толстый конверт – на этот раз с паспортами. Огарев едва донес его до машины – дважды останавливался, пытаясь нащупать сквозь бумагу, а на самом деле – просто перевести дух. Не умереть. Только не сейчас. Нет, Маля. Еще немножечко подожди. В салоне было душно, как в захлопнувшемся чемодане – московская жара, дурная, плотная, как вонь, уже накрыла и без того обомлевший город. Микротылкындик, засмеялась Маля, поправляя платье и ерзя на горячем сиденье. У меня даже попа прилипла. Кондиционер включи, пожалуйста. Огарев включил. Ему было холодно – холодный пот, холодные непослушные пальцы, черные медленные пятна перед глазами. Терминальное состояние. Обморок. Коллапс. Шок. Он изо всех сил потер уши – тоже холодные, липкие. Нет, они не могли узнать. Не могли изъять, просто не могли. Уродливая российская бюрократия в сочетании со сладкой итальянской ленью. Не...

Оба паспорта были на месте.

Слава богу.

Оба.

Маля весело посмотрела на него с фотографии – прямо сквозь леденцовый плотный ламинат. Волосы кое-как сколоты на затылке, длинные прозрачные сережки из горного хрусталя. Самые любимые. Капельки. Где мои капельки? Ты не видел? Он не видел, плакал, стискивая в пальцах шероховатую книжицу. Дата окончания срока – 19.09.2020 года. Годовая виза. Дата рождения. Смешная маленькая подпись – еле втиснула в нужный квадратик, бедная, испортила два бланка, пересмеивалась с пожилым фээмэсником, пахла солнцем и яблоками.

Умерла. Боже мой. Умерла.

Огарев всхлипнул в голос от боли – самой настоящей, физической, грубой, ужасной. Почти вскрикнул – как Аня когда-то. Когда решилась наконец перезвонить. Им с Малей было без году неделя тогда – самый пик, только вернулись из Ленинграда, забрали из сервиса кое-

как восстановленную машину. Маля говорила – ах ты, бедолажка, и гладила по капоту, как загулявшую, заблукавшую, где-то на сук напоровшуюся корову. Они ехали, голодные, счастливые, хохоча и перебивая друг друга – куда? Нет, не помню. Кажется, за какими-то особенными чебуреками. Москва была белая, вымороженная, полупустая, и они целовались как ненормальные на каждом светофоре, собирая позади длинный и почтительный хвост.

Ни один не бибикнул, поторапливая. Ни один.

А потом позвонила Аня.

Сказала тихо – как будто на ухо, совсем рядом. Вернись, пожалуйста. Я совсем без тебя не могу. Совсем. Даже не попросила. Просто пожаловалась. Огарев закашлялся, пытаясь хоть так перестать смеяться – сколько они смеялись тогда, господи, все время, он и не знал, что так бывает, глупая шутка еще висела в воздухе, и Маля, скиснув от хохота, повалилась головой ему на колени, так что поравнявшийся с ними водила в раздолбанной «газели» расценил происходящее совершенно определенным образом и выпучил, как мультяшка, круглые от зависти и изумления глаза. Маля приподняла голову, глянула – и упала, давась от смеха, снова. Зажегся зеленый. Владелец «газели» рванул во все лопатки, увозя с собой свеженькие комплексы и несбыточную заграничную мечту о красивой девчонке, которая вот так, на ходу, днем, сама... Эх!

Аня молчала. Ждала в трубке, затаившись. Прислушиваясь.

Ты не вернешься? И Огарев торопливо, весело сказал – нет! Больше Мале, распрямившейся наконец, розовощекой, счастливой, вздумавшей вот прямо сейчас, сию секунду, растянуть ему ширинку. Раз уж этот дурачок из «газели» так хотел.

Нет! – еще раз повторил Огарев.

И тогда Аня коротко, страшно вскрикнула – как кричат только от неожиданной, непосильной боли, к которой никак, совершенно никак невозможно подготовиться. Он сам так кричал в армии, когда ротный, осознанно, прицельно, залепил сапогом ему прямо в пах. Свет выключился мгновенно. Но, даже теряя сознание, Ограев слышал свой собственный, короткий и хриплый, крик.

Он уронил телефон, попытался поднять, нашарить его на полу, не смог и почти грубо оттолкнул окончательно расшалившуюся Малю. Она только взглянула снизу – и сразу поняла. Перестала смеяться, включила аварийку, выскочила из машины – осторожно, проезжая часть! Уходит? Бросила?! Нет. Просто обежала замершую на светофоре машину, почти силком вытащила Огарева – садись, да нет же, справа! – ловко, умело устроилась на его месте. Огарева трясло – от жалости, от стыда – он не умел делать больно, не хотел, не должен был – и делал. Даже не больно – просто убивал. Снова. В очередной раз. Бездумно. Легко.

Маля тронулась с места и, отъехав метров на триста, припарковалась, сноровисто и четко, прямо у обочины. Огарев и не знал, что она умеет. Ты машину водишь, оказывается? Хотел спросить – но не смог. Это жена звонила? Кивнул, изо всех сил стараясь не зарыдать. Хочешь, я тебя к ней отвезу? Он замотал головой, отрекаясь еще раз – нет, не хочу, и Аня заплакала наконец где-то там, совершенно одна, посреди нигде, в котором оказалась по воле Огарева, и с каждым всхлипом ей, наверно, становилось хоть немножечко, но легче. А может, и не становилось, просто Огарев так хотел.

Ничего, она справится. Справится. Все справляются – и она тоже.

Теперь Огарев понимал – нет, справляются не все. Он – не мог. Прошло всего два года, машина была та же самая, и Москва, и Огарев, и тогдашний холод ничем не отличался от сегодняшней жары, но Мали не было. Не было Мали! Она не сидела рядом, это было вранье. Огарев врал. Он не видел ее больше. Не видел, понимаете? Живой – не видел. Даже во сне. Она не приходила, бог знает почему. Не хотела? Обиделась? Боялась напугать? Может, ее действительно не пускали?

Огарев скорчился от нового приступа боли, вцепился зубами в руку, пытаясь вышибить одну муку другой, но напрасно, зря – внутри все равно лопалось что-то, колотилось, пытаясь выломать тесную реберную клетку, вырваться на свободу. Душа? Демон? Долгожданный сосудистый спазм? Огарев был готов поверить во все что угодно, это была та самая степень отчаяния, которая заставляет взрослых, умных, образованных людей крутить столики, молиться идолам, ходить по знахаркам и колдунам. Что угодно, лишь бы не так больно. Что угодно. Острая фаза горя. Душевный пульпит. Тонкое божественное сверло, неторопливо наматывающее на победитовый кончик все еще живую человеческую душу.

Огарев зажмурился изо всех сил – но вместо Мали снова запрыгали перед глазами черные строчки. Трупное окоченение хорошо выражено во всех исследуемых группах мышц. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь, задняя поверхность грудной клетки и поясничная область обильно опачканы темно-красной жидкой кровью. Лицо симметричное. Рот полуоткрыт

Каргер была права. Не надо. Не надо было ему это читать.

И смотреть – тоже не надо.

Мертвая Маля за несколько секунд навсегда вытеснила живую.

Что такое быть профессионалом? Идеально сформированные умения и навыки, полнота информации, скорость принятия решений, опережающая скорость мысли. Инструмент, который спокойно переключается из правой руки – в левую. Шершавый мольберт. Палитра. На ощупь знакомый, продуманный божественный верстак. Пациент только входил в кабинет, а Огарев уже видел, что с ним, – и чуда в этом было не больше, чем в двух рыбах и пяти хлебах. Поднимал глаза – снимок кисты у вас с собой? Слова не вымолвивший человек отшатывался, как от костра, – испуганно, только что не прикрываясь. Но как, доктор, я же... Едва заметная асимметрия лица, миллиметровое смещение глазного яблока, цвет кожных покровов. Запах. Верхнечелюстная гайморовая. Пик карьеры. Всемогушество, равнодушие, усталость. Думаю, в вашем случае прекрасно обойдемся без операции.

Огарев знал всех лучших врачей в городе. Все они знали его. Члены одной секты. Жрецы одного бога. Это была огромная, идеально организованная диспетчерская, сияющая бесперебойная шестерня, попасть в которую мечтал каждый человек. Даже здоровый. Особенно здоровый. Поиск своего врача, отнимающий столько сил, давал в конечном итоге не только результат, но и драгоценное, любых стараний и денег стоившее чувство защищенности. Свой врач, какой бы специальности он ни был, с легкостью перекидывал тебя другому, такому же проверенному. Мы от Ивана Сергеевича Огарева к Татьяне Николаевне Бахмутовой! Мы к Ивану Сергеевичу Огареву от Луценко Константина Ефимовича! Это было как тавро. Знак принадлежности к избранным. Первые ряды привитых, выживших, спасенных. Блатных.

Огарев терпеть их не мог, блатных. Ни один хороший врач не мог, чего уж там. Какие тут сантименты. С блатными было больше возни, они отжирали больше времени, не в пример чаще хамили – наивно принимая внимание врача на свой собственный ничтожный счет. Ерунда. На самом деле блатных лечили точно так же, как обычных, безымянных, из общего несчитанного стада. Теми же препаратами, теми же руками. Просто им уделяли чуть больше времени – выкраивая из времени собственного, личного, неповторимого, своего. Каждая секунда, уделенная блатному, выдиралась из самой настоящей, единственной жизни врача. Это был в прямом смысле слова – недоеденный кусок хлеба. Горбушка, брошенная на скатерть, отодвинутый в сторону суп, ребенок, который уснул, так и не дождавшись сказки на ночь. Женщина, которую ты не успел поцеловать. Мама, с которой так и не удалось поговорить напоследок. Такую страшную жертву можно было приносить только своим. Так что дополнительное внимание, доставшееся пациенту, назвавшему нужный пароль, на самом деле было знаком уважения врачу, который его прислал.

Великое братство. Тайное. Дети Асклепия. Просто дети.

Огаревская записная книжка (мысленная, самая надежная, имена, диагнозы, телефоны, даты он предпочитал по старинке – запоминать) насчитывала десятки врачей всех специальностей. Единственный специалист, к которому он за всю свою практику ни разу никого не послал, была Каргер Галина Леонидовна. Врач судебно-медицинский. Эксперт отдела экспертизы трупов. Образование высшее, стаж работы по специальности 25 лет, врач высшей квалификационной категории.

Красавица – черноволосая, высокопородно, как лошадь, сухопарая. Синие глаза под мрачными широкими бровями. Смуглая кожа. Сама про себя говорила – старая карга. И смеялась одними глазами. И правда была старше Огарева лет на десять – тогда (и сейчас, впрочем) совершенно неважных. Шестой курс. Двадцать пять лет. Судебная медицина. Морг. Когда их привели в первый раз, толкающихся, почти взрослых, смущенных, вышла, очень прямая, очень строгая, взвесила их всех взглядом. И явно осталась недовольна. Предупредила – здесь у меня на столе тоже люди. Просто мертвые. И если кто-то рискнет проявить хоть малейшее неуважение... Так и сказала – рискнет. Посмотрела еще раз, выцепила из толпы Ларочку, беременную, предусмотрительно прижимающую к губам надушенный носовой платок. Уточнила, поведя горбатым, как у борзой, тонким носом, – Escape? Ларочка кивнула. Это вы зря. Хорошие духи. Пожалеете, да поздно. И точно, несчастная Ларочка всю практику с подвывом, как кошка, протошнила в туалете и всю жизнь потом не могла без спазмов слышать не то что легендарный кельвиновский аромат, даже черную смородину и персики на дух не переносила. Неспешный, не растворимый ни в чем запах смерти.

Сама Каргер не пахла ничем – стерильная, быстрая, деловитая, безупречная в движениях, но под льдистой корочкой – Огарев это чувствовал – было мягкое, горячее, живое. Она нравилась ему очень, по-настоящему, как мало кто нравился прежде и – до самой Мали – потом. Каргер была живая. Смелая. Веселая. Работала в самом аду, в истинной его, непридуманной сердцевине – зарезанные, повешенные, раздавленные, сгоревшие дотла, сгнившие, утонувшие, трупное окоченение, мумифицирование, жировоск. Работа, несовместимая с жизнью. А Каргер не теряла ни чувства юмора, ни здравого смысла, ни прямой спины.

Она не видела его в упор, конечно. Никак не выделяла из перетаптывающейся, любопытно тянущей шеи группы. И тогда Огарев стал задерживаться – сперва на пять-десять минут, потом на часок, помогал незаметно, перекладывая самое неприятное (тошнотворное с неприятки) на себя. В глаза не лез, вопросы задавал вовремя и по делу. Каргер оценила. День, когда она предложила ему выпить вместе чаю, Огарев расценил как награду. Личную. Заслуженную. Знамя, шеренга бойцов, пылающие уши, прогрохотавший над круглыми стриженными головами торжественный приказ. Чаепитие в морге. Каргер улыбалась – теперь уже не только глазами, расспрашивала, но держала дистанцию безупречно. Ровно. Спокойно. Одним взглядом. Он сам потом научился так же. Как раз у нее. Смотреть так, чтобы самая зарвавшаяся сволочь тормозила на всем скаку, опасаясь врезаться в невидимую стену.

Да что там – просто опасаясь.

Огарев приходил и после того, как закончился курс судебки. Подумывал даже всерьез о карьере Харона. Подарил Каргер почти год. Нет, она ему, конечно, подарила. Он проводил ее – сначала до остановки, потом – до дома. Бирюлево. Не королевская совсем многоэтажка – совсем не по осанке Каргер, не по походке, не по статусу. Черт знает какие гнусные завывбеля. Пешком, метро, автобус, снова пешком. Долго-долго. Разговаривая. Правда, дальше подъездной двери дело у них так и не зашло. Каргер улыбалась, отбирала у него сумку, которую Огарев по-мальчишески, по-школьному нес сам. Молоко, батон, суп из пакетика. Хозяйка из меня, сразу предупреждаю, аховая. Чай я вполне способен заварить сам. Чай – это для бедных. Бабушка моя так говорила. Пила, кстати, исключительно «Золотой колос». Знаете такой? Растворимый кофейный напиток из ячменя и ржи. Чудовищная гадость. Да не знаете, конечно.

Откуда вам? Вы же шестьдесят девятого года? Спрашивала так, что Огареву хотелось немедленно провалиться сквозь московский асфальт. А я пятьдесят девятого. Люди при мне в космос начали летать. А вы – чай, чай.

Противопоставить этому было нечего. Да и не нужно. Огарев ей просто не нравился, это было ясно. Мальчишка.

До свидания, Иван Сергеевич. До свидания, Галина Леонидовна.

Огарев пожимал протянутую руку. Короткие ногти, крепкие честные пальцы. На указательном – от вечной писанины – маленькая твердая мозоль.

Подъездная дверь закрывалась – и немолодой лифт рывками уносил наверх женщину, с которой Огарев мог быть счастлив. Наверное. История не терпит сослагательного наклонения, как сказал горбоносый любитель русского слова. Сентиментальный лакомка. Неистовый выскочка, истовый монархист. Не прав, нет. Конечно, не прав. История вообще не терпит ничего, кроме боли. Да и ту из последних сил.

Огарев стоял, не уходил, терпеливо ждал, когда зажжется окно однушки, в которую его так никогда и не пригласили. Каргер жила одна совершенно, без мужа, без ребенка, без собаки. Без фикуса даже. Не могу, Иван Сергеевич. Я во всех вижу мертвых. Все кругом – мертвые. Затянувшаяся болезнь третьего курса. Родильную горячку у себя искали, помните? Огарев засмеялся – он искал муковисцидоз. Слишком соленый пот на верхней губе, представляете? Кладбище даже присматривал, это вам не шутки. Вот. Это оно и есть. Какая уж тут семья. И одиночество это, честное, просто и страшно скроенное, было ей тоже к лицу. Как и рыжая лисья шапочка. Как родинка на смуглой теплой щеке. Как честность, удивительная даже для судмедэксперта. Никаких тайн! Ненавижу тайны!

Но никаких тайн и не было.

Содержимое желудка. Поясок осаднения. Минус ткань. Металлизация краев. Поэзия смерти. Соскобы. Срезы. Темная теплая прядь у самой щеки. Нет, это посмертное повреждение – видите? Кровоизлияния нет. Огарев – видел. Все, все замечал – новые туфельки, чудом выкроенные из скромнейшего бюджета. Пуговицу, расстегнутую так, чтобы тень ложилась в прохладную межключичную ямку. Круглую мочку, розовую, прозрачную, вместо дырочки для сережек – еще одна каряя родинка. Смешная.

В декабре, Огарев точно помнил, что в декабре, Каргер сказала ему наконец – не тратьте на меня время, Иван Сергеевич. Хватит. И в судмедэксперты не идите. А то не выгорите никогда. Что? – Огарев не понял, ошеломленный неожиданным разрывом. Оказывается, несуществующую связь рвать было еще больнее, чем живые, смертные, человеческие отношения. Что – никогда?

Никогда не выгорите иначе. Так и проживете всю жизнь врачом. А это ужасно.

Почему? Огарев снова не понял ничего, ни одного слова. Он даже не поцеловал ее ни разу, черт подери! Пальцем до нее не дотронулся. Только хотел.

Умереть надо человеком, Иван Сергеевич. Понять себя, прислушаться. Важное в этой жизни разглядеть. Для себя важное. А у врачей на это никогда не хватает времени. Мы неправильно умираем. А это важно. Правильно умереть. Человеком.

Огарев молчал. Сжимал в пальцах пластиковый пакет с вечным батоном и вечным молоком, купленным в магазинчике, на углу. Вы вообще едите что-нибудь, кроме белого хлеба и молока? Это же ненормально! Я и хлеб не ем, Иван Сергеевич. Открою уж, так и быть, страшную тайну. Тем более молоко. Это соседке. Она не ходит почти. Старая. Ревматоидный артрит.

Каргер приподнялась на цыпочки и, щекотнув лисьим мехом, поцеловала Огарева в щеку. Губы у нее были прохладные. Гладкие. Неживые.

Поверьте, я знаю, что говорю. Мертвые не надоедают. Поэтому лечите живых, пока сможете. А потом уходите из профессии. Если успеете, конечно. Многие не успевают. А жаль. Потому что спросят не за других. Это все вранье. Спросят за нас самих.

Кто спросит? К Огареву вернулись наконец и дар речи и злость. Его бросали! Опять! Каргер выбрала не его. Не его – а морг.

Каргер не ответила – просто показала пальцем вверх, то ли на черное бирюлевское небо, то ли на свое, такое же безнадежное, черное окно.

Дверь хлопнула за ней в последний раз. И Огарев только в метро сообразил, что так и не вернул пакет с молоком и хлебом. И значит, чужая старуха где-то там, в Бирюлеве, ляжет спать голодная.

Может быть, именно это ему не простили. Может, из-за этого все.

Выскочила навстречу в морге много лет спустя, сунулась, перепуганная, маленькая, раскинув руки – нет-нет, не пущу! Огарев не заметил даже, он шел, ничего не видя, бесконечно забирающим налево и вверх коридором, расталкивая всех – людей, неузнаваемых, как будто и не людей вовсе, какие-то тени, непрозрачный тяжелый воздух. Шолоховское черное небо и ослепительно сияющий диск черного солнца перестали быть литературой, литературщиной, все вообще перестало быть. Я к Мале, бормотал он, я врач, к Мале, пустите, пустите немедленно, я врач. И тогда Каргер просто повисла у него на руке, причитая.

Не надо, Ваня. Не смотри. Христом-богом тебя прошу.

Только тогда он остановился. И сразу ее узнал. Совсем не изменилась. Галина Леонидовна Каргер. Словно законсервировалась в своей одинокой смерти.

Только волосы поседели.

И Ваней его раньше не называла. Никогда.

Все четыре часа до Рима кресло рядом с Огаревым было пустым. У окна. Маля любила у окна. Забиралась, сбросив обувь, с ногами, долго возилась, угнезживаясь. Читала, грызла леденцы, опять читала, один раз расплакалась над «Обещанием на рассвете» Гари, долго шмыгала носом, никак не могла успокоиться, как маленькая. Так что невозмутимая стюардесса даже принесла ей воды – в прохладном, упругом, набоковском совершенно картонном стаканчике. Огарев не спал, не мог, а вот Маля к середине полета укладывала ему на плечо тяжелую голову – как будто роняла. А как-то раз (в Лиссабон? нет, кажется, в Лондон) они летели в полупустом самолете, и Маля, довольная донельзя, заняла сразу два кресла и заснула немедленно, как кэрролловская Соня, уложив Огареву на колени маленькие ступни, затянутые в плотный полупрозрачный капрон, теплые, почти игрушечные...

Щекотно, милый!

Огарев вздрогнул и открыл глаза. Нет, так и не пришла. Просто мальчишка сзади саданул ногами по спинке его кресла. Видно, мамаша подучила. Стюардесса еще до взлета пыталась уговорить Огарева пересесть – как раз из-за этого пацана. Мамаша желала посадить его именно к иллюминатору, бог уж знает почему. На Малино место. Огарев коротко сказал – нет. Но так, что стюардесса сразу поняла, отвязалась. Зато не поняла мамаша, типичная, судя по всему, онажемать, долго бухтела что-то сзади, недовольная тем, что планета вращается не по ее щучьему хотению. Похожа на шуку, кстати, – длинное лицо, маленький зубастый рот, тощая. Отпрыск ее, пятилетний, страшненький, еще не понимал, в какой жуткий попал переплет (мать – агрессивная дура, вот уж точно наказание Господне), но уже был нервный, дерганый и то и дело, как заведенный, просился в туалет. Мамаша то соглашалась его отвести, то с садистским упорством отказывалась. И Огарев, оценив замысел (разрешение помочиться как приз за хорошее поведение), на секунду пожалел, что не работает в опеке. Отобрать бы этого заморыша и отдать хорошей, нормальной, веселой паре. Лучше всего – иностранцам. Совсем хорошо – геям. Пусть вырастет ярким, смешливым, смелым. Свободным. Пусть научится заступаться за себя и за других.

Заморыш саданул по спинке кресла еще раз.

Сразу двумя копытами.

Ба-бах!

Огарев обернулся – посмотрел. Прямо, тяжело, как на равного. Как на мужчину. Призрак отца, невидимый, незабываемый, шевельнулся внутри, устраиваясь поудобнее. Отвоевал себе еще немного места, урод. Пацан сразу съежился, скис, спрятал глаза. Огарев перевел взгляд на мамашу и тихо предупредил – угомоните ребенка. Или я сам. Мамаша задохнулась от возмущения – ей явно надо было сдать кровь на гормоны щитовидки. Гипертериоз. А у той толстухи через ряд – ревматоидный артрит. Стюардесса, заученно улыбаясь, пронесла мимо лиловатые, тяжелые, варикозные вены, у мужчины впереди ощутимо свистело в легких. Эмфизема? Нет. Всего-навсего бронхит курильщика. Повезло.

Больные толпились, сжимая вокруг Огарева страшное кольцо, жаловались, ныли, падали, давя друг друга, но все равно ползли, требовательно хватая за руки, совали в лицо свои язвы, корки, болячки. Огарев отвернулся, закрыл глаза и вдруг понял, что больше не может. Не должен. Не хочет быть врачом. Будьте вы прокляты. Все до одного. Не лечить вас больше. Никогда не видеть. Не знать, что вы все существуете.

Вечный посредник, проводник между божественным и человеческим, между плотским и неземным, важнее любого священника, страшнее жреца, он набрал наконец свою крейсерскую высоту и обнаружил перед и под собой только великую пустоту. Никакого Бога. Ничего живого. Только облака, тонким молоком разлитые далеко внизу. Не было смысла лечить. Некому было жаловаться. Некого просить. И только прыгало, как заведенное, сердце, доверчиво лежа в настешь распахнутой грудной клетке. И вместе, одновременно с этим живым сердцем подскакивал, равномерно и страшно, тяжелый корцанг. Сто пятьдесят пять граммов тусклой стали. Человеческое сердце способно на многое. Практически на все. Очень сильная мышца. Сильнее любого бога. Сердце Огарева больше не хотело ни биться, ни лечить.

Внимание, говорит командир корабля.

Уважаемые пассажиры!

Наш самолет приступил к снижению для посадки в аэропорту Фьюмичино. Просьба ко всем занять свои места, спинки кресел привести в вертикальное положение и застегнуть привязные ремни. Температура воздуха в Риме – плюс 31 градус. Благодарю за внимание.

Огарев вышел первым, растолкав всех.

Четырнадцать пропущенных звонков от пациентов. Смс от них же – шесть.

Он вынул симку, бросил в урну. Мобильный аккуратно положил рядом на пол. Кому-нибудь пригодится.

В Avis на получение машин была огромная очередь.

Маля хотела, чтоб им достался «смартик». Они такие смешные, правда? Ужасно смешные.

Им достался «смартик».

Синьор хочет навигатор?

Синьор не хотел.

Он бы мог проехать по этой дороге с закрытыми глазами.

Километров за десять до города Огарев нашел наконец подходящее место. Не поле, просторное по краям хрестоматийными маками. Не виноградник. Не принадлежащий какому-то счастливцу крутолобый холм. Пролесок, короткий, как вдох. Очевидно ничей, кроме Бога. Да и кому еще могут понадобиться эти примолкшие папоротники, тихая мягкая сырость, почти русская, почти грибная. Эти простые деревья с итальянскими именами, смыкающие ладони высоко-высоко над головой, в нестерпимой, яркой, праздничной синеве. Огарев хотел взять из машины сумку, одну-единственную, но передумал. Почти невесомый саквояж, коричневый, гладкий, длинный. Маля называла его – такса. И не ручная кладь, а просто – ручная. Наша ручная такса. Переименовывала все. Вот так, мимоходом, запросто, дарила жизнь. Посиди одна

в багажнике, такса. И не бойся, это ненадолго. Огарев заботливо включил аварийку, проверил сигнализацию, замки, потом собственные карманы. Все было на месте. Все – правильно. Как и задумано. Как и должно быть.

Пролесок сначала неторопливо шел вместе с Огаревым вверх, по склону холма, а потом вдруг начал набирать ход, задыхаться, сбиваться с шага – и закончился разом на самом краю, словно хотел броситься вниз. Но не решился. Не решился. Вид был ошеломляющий. Англичане говорят – забирающий дыхание. Вот таким и должен быть рай. Синий летний воздух, запах белых грибов, пинии, игрушечный городок, оседлавший холм у самого горизонта.

Огарев сел прямо на траву, горячую, стрекочущую, полную колокольного цикадного звона, – и солнце тотчас положило большую ладонь ему на лоб, погладило по плечу. Поддержало. Он достал Малин паспорт, тоже теплый, пролистал напоследок, страницу за страницей. Чиркнул зажигалкой. Ламинат. Интересно, он горит? Горит. Все вообще – горит. Дело только в точке плавления, во времени, в терпении. А времени и терпения у нас теперь сколько угодно, Маля. Огарев закурил, глядя, как лижет страницы почти невидимый дневной огонек. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Боль никуда не исчезла, сидела рядом, тоже смотрела, по-кошачьи сужая неподвижные страшные глаза. Полные разрывы крестцово-подвздошного сочленения справа и слева. Полный поперечный перелом тела грудины между 3-м и 4-м ребрами. Полные косопоперечные переломы 4–9 ребер справа по околопозвоночной линии. Разрывы межреберных мышц между 8-м и 9-м ребрами справа, на длину 8,5 см. Полный разрыв межпозвоночного диска между 11-м и 12-м грудными позвонками с полным отрывом спинного мозга.

Маля. Маля. Маля.

Нет. Молчит. Не отвечает.

Прилетели откуда-то удода – рыжие, нарядные, озорные. Гладкие, словно облизанный ребенком молочный шоколад. Встопорщили, изумляясь Огареву, хохолки. Принесли с собой ветерок – будто сами дунули. Маленький погребальный костер задрожал, подернулся рябью, умирая, – и Огарев торопливо вывернул из карманов все что было. Документы на прокатную машину, ваучер на апартаменты. Четыре недели тихого счастья, Летиция, наверно, уже взбила подушки, в последний раз провела крепкой крестьянской ладонью по крепкому прохладному полотну. Бутылка вина на столе, лиловая глициния за окном, звенящие на солнце листья оливы. Скоро приедут гости. Будет радость. Будут деньги. Будет работа. Хорошая пара. Веселые. Видно, что любят друг друга. Когда-нибудь привезут сюда своего малыша.

Билеты на самолет сгорели мгновенно, пламя прыгнуло, жадничая, едва не лизнуло Огареву ладонь. Растревоженные дрозды взлетели разом, полыхнув в воздухе медными крыльями. Огарев достал свой паспорт, аккуратно снял подаренную Малей обложку. Кожа будет тлеть слишком долго. Слишком страшно будет пахнуть. Слишком далеко их всех заведет. Обойдемся без лишних жертв.

Огарев смотрел, как горит его жизнь, перемешиваясь с Малиной, как седеет, стареет, становится одним целым. Родным. Это было не страшно – наоборот, хорошо, отваливались, будто корки, московские горести и заботы, горести и заботы пациентов, их трофические язвы, хронические капризы, надуманные страхи, их самая настоящая неминуемая смерть. Пробки, мэры, счета, русские марши, нерусские цены, гастарбайтеры, цыгане, чиновники, достигшие самого дна нирваны бомжи. С Огарева словно снимали кожу, старую, тесную, он сам ее снимал, освобождаясь, не зная еще, что там, под прежней жизнью, но уже тихо удивляясь странному, непривычному чувству свободы. Боль никуда не делась, конечно. Но теперь вся помещалась внутри. И с этим можно было жить. Жить. Просто жить.

Теперь он, кажется, понял. Начал понимать.

Прилетела сорока, черно-белая, длинная, нарядная, как лимузин, – посмотрела на Огарева и сварливо, по-итальянски, выругалась. Видно, дрозды нажаловались. Огарев согласно кивнул – все-все, извини. Уже ухожу. Ухожу, я сказал.

Пепел собрать было некуда, и Огарев сгреб его, еще горячий, в обложку из-под паспорта. Ладони сразу стали серыми, неживыми. Ничего, это ненадолго. Осталось совсем чуть-чуть, Маля. Еще совсем немножечко потерпи. Он спустился, не оборачиваясь, с холма и пошел прямо к мреющему, парящему над горизонтом городу. Тому самому. Тому самому. Тому самому, Маля.

К вечеру баснословный тосканский свет чуть сгустился, готовясь стать сумерками. На площади толкались туристы, лопотали разноязыко, лакомились мороженым, фотографировали друг друга на фоне вечности. Самые отпетые идиоты подставляли ладони лодочкой, держали уплывающее солнышко, лыбились в объектив. Вокруг столиков, вынесенных прямо на брусчатку, уже сновали официанты, меняли скатерти, готовились к самому важному событию дня – к ужину. Пахло кофе, горячим тестом, цукатами, оливковым маслом, медленно закипающим в медной громадной сковороде. Чеснок, базилик, щепотка перца. Вон в том ресторанчике Маля заказывала пекорино с трюфелями. Вот в этой лавке нашла свою баклеву. Грудастая смуглая хозяйка выложила на блюдо свежую порцию. Украдкой облизала сладкие пальцы. Засмеялась.

Никто не обращал внимания на запыленного мужчину, то ли сумасшедшего, то ли просто седого, который стоял у стены и, единственный на площади, не улыбался. Что он там держит в руках, дорогая? Это не бомба? Да какая бомба! Успокойся наконец, Джон. Нельзя быть таким параноидальным. Это же Италия, а не Иран. Давай лучше возьмем еще по мороженому. Вон в той gelateria есть шоколадное с чили-перцем! Представляешь?

Огарев обернулся, почувствовав чей-то взгляд – нет, не улыбался не он один. Под магнолией, кожистой, громадной, стоял паренек, такой же пыльный, как он сам. Тощий, лохматый, бледный, Огарев по привычке отметил рахит (откуда?), да нет, похоже, вообще костный туберкулез – характерно припухшие суставы, ощутимо перекошен на один бок, зародыш будущего калеки, боль, жар, изуродованный, словно на узел завязанный костяк. Как ты вообще умудрился, бедолага? В Италии? В наше-то время? Паренек все смотрел исподлобья наглыми светлыми глазами отпетого хулигана и драчуна. Он был босой и все теребил какой-то красный шнурок на шее, трогал его грязными пальцами, пока солнце не сделало еще один приставной шаг в сторону и Огарев не увидел сквозь серую рубашку паренька кору магнолии.

И вывеску. И брусчатку.

И сгущающуюся тень.

Это не шнурок был у него на шее. Нет. След от топора.

На площади вдруг стало холодно.

Средневековая лачуга, превращенная в милый гостиничный номер. Евроремонт, ванна на гнутых ножках, ослепительный кафель. Полночь. Шепчущий за крошечным окном мертвый туман. Он вот тут стоял, вот тут! Как ты не понимаешь, я точно видела! У него кровь текла. И голова отрезана! Совсем! Это просто сон, Малечка, просто дурной сон! Я не спала! Тряслась даже в пушистом банном халате, мокрая, перепуганная. Запекшийся рот, расширенные зрачки. Тремор. Даже не плакала, только все пыталась отвернуться от чего-то невидимого Огареву, ужасного. Ночного. Я не спала, говорю же! Я не спала! Я просто ванну хотела принять, а он пришел!

По Казимиру Иосифовичу Ноишевскому, главное различие между истинными галлюцинациями и псевдогаллюцинациями состоит в том, что от галлюцинаторного образа можно отвернуться, в то время как от псевдогаллюцинаторного отвернуться нельзя. Он следует за движением глаз и головы.

Огарев отвернулся, сморгнул.

Вот кого ты видела, бедная.

А ну, пошел! Пошел отсюда, гаденыш!

Нет. Не исчез. Стоит. Ну и пес с тобой. Смотри!

Огарев положил обложку паспорта на край каменного парапета и легко смахнул пепел вниз, в пропасть. Маленькое плотное облако повисело несколько секунд в теплом сонном воздухе и рассеялось.

Все как ты просила, Маля.

Все – как ты.

Огарев вынул из кармана единственный оставшийся у него документ – акт судебно-медицинского исследования, подписанный Каргер. Маля лежала на неудобном столе, смотрела полуоткрытыми тусклыми глазами. Размягчение глазного яблока. Окоченение мышц. Появление трупных пятен на отлогих частях... Простыню уберите. Не надо, Ваня. И тогда он сам убрал. Сам. Сам все увидел. Навсегда впечатал в память, так что ни зажмуриться, ни отвернуться. Эти ссадины. Эти птичьи переломанные косточки. Запекшуюся кровь. Этот удар. Эту боль.

Мальчишка был теперь совсем рядом, за спиной. Один на пустой, стремительно темнеющей площади. Кто-то бубнил, страшно, монотонно, нечеловеческим голосом – смерть наступила от сочетанной тупой травмы тела, сопровождавшейся переломом тела грудины, ребер справа, разрывом межпозвоночного диска с полным отрывом спинного мозга, переломом тела 10-го грудного позвонка, кровоизлиянием в корни легких, забрюшинной гематомой...

Огарев вцепился в парапет, пустота внизу выла, крутились в ней, исчезая, Маля, он сам, серый пепел, серые тени, серый свет, стремительно становящийся черным.

Разрывом правой доли печени, заходился голос, перечисляя, кровоизлиянием в жировую клетчатку правого надпочечника, кровоизлиянием в жировую клетчатку правой почки, переломами костей таза, правой верхней и нижних конечностей, излитием крови в брюшную полость, осложнившейся шоком, массивной кровопотерей, что подтверждается...

Да ну, глупости какие. Дай сюда.

Огарев даже не шевельнулся. Так и смотрел вниз, на свои белые пальцы, вцепившиеся в камень. На площади галдели, смеялись, тянуло вкусным дымком, и такой же дымок поднимался снизу, со дна пропасти, в игрушечных крошечных фермах подбрасывали оливковые ветви в печи для пиццы, женщины шлепали крутым круглобоким тестом о присыпанный мукой стол, переругивались, смеялись. Даже солнце осталось на прежнем месте – держало легкую ладонь на его левом виске.

Давай, говорю.

Маля, живая, теплая, в желтом платье, отобрала у Огарева акт, быстро сложила самолетик, немножко кривой, но вполне летучий. Дееспособный. Запустила, высоко размахнувшись, в небо – и засмеялась, провожая глазами.

Вот и все, сказала. Видишь – совсем не страшно.

Самолетик описал длинную дугу в закатном небе – и исчез. Никуда не приземлился. Просто исчез.

Маля обернулась и сердито сказала мальчишке – иди, не стой столбом. Тебе же сказали. И спокойно взяла Огарева за руку. Ты почему босая? – спросил Огарев, еле ворочая сухим языком. Замерзнешь. Не замерзну. Засунула куда-то босоножки просто. Ничего, потом найдутся.

Она засмеялась, прижалась головой к его плечу и потерялась, как кошка. Горячие волосы. Рыжие. Медные.

Пойдем домой? Есть хочется ужасно.

И Огарев только тогда наконец-то разжал пальцы.

* * *

Белый «фиат панда» вскарабкался на холм, дрожа и обмирая на каждом километре. Такой усталый, что почти уже человек. Никому не нужный, маленький, старый, седой. Даже

если заплакать – никто не пожалеет. Поздно. Хохлы открыли до отказа все окна, имитируя несуществующий кондиционер, и горячий тосканский ветер легко погладил их беспутные круглые головы. Если закипит или заглохнет – пропали. Самим не завести, даже с толчка. Можно, конечно, вызвать ремонтников из ближайшего городка, но ведь обдерут как липку – до последнего чентезимо. А грошей и так нема. По крайней мере – на «фиат». Да еще и стуканут, что нелегалы, – чертовы итальяшки. Дрянь, а не люди. Гаже цыган. А гаже цыган, как известно, и вовсе никого нету. Хохлы закурили разом, не стовариваясь, и, не стовариваясь, разом же вспомнили ценники в табакерии. За самую говенную пачку – три с половиной эуро. Это ж рехнуться можно. Чертов кризис. Чертова страна. Чертова жизнь.

Ферма улеглась между двух холмов – как кошка. Небольшая, ладная, полная жизни. Не то дремлет, не то присматривает себе кузнечика пожирнее. Пока не прыгнет – ни за что не разберешь. Два дома – большой и поменьше. Видно, для гостей. Синий прохладный прямоугольник бассейна. Сад. Виноградник, неторопливо, с прямой спиной, поднимающийся по склону. Может, агритуруизмо. А может, просто богатые люди живут. Какие-нибудь римляне или милаneze. Но лучше бы, конечно, англички. Вот уж таких идиотов, как англички, свет не видал. Платья сколько попросишь. И хоть на голову им настри. Воспитанные, блин.

Хохлы проехали между кипарисов, пунктирно показывающих дорогу к главному дому. Стрекотала газонокосилка, солидная, дорогая, на желтых колесиках. Gianni Ferrari. Под навесом отдыхал горбоносый мини-трактор. Из грубых терракотовых горшков перли, переливаясь через край, крупные, разлохмаченные розы. Богатое хозяйство. Может, и работа какая найдется.

Хохлы посигналили деликатно – и газонокосилка тотчас смолкла. Голый по пояс мужчина спрыгнул с нее и пошел к воротам, вытирая ладони о старенькие джинсы. Волосы почти белые от солнца, а может, седые. Не поймешь. Твердое лицо. Твердые мышцы на темных от солнца прямых плечах.

Хозяин. Сразу видно. Свободный человек.

Хохлы вышли из машины, на всякий случай заулыбались униженно. Их итальянский оказался не так уж плох, да, деревянный славянский акцент, но зато почти все артикли на месте. Даже определенные. Нет. Работы здесь нет, к сожалению. Но зато вы можете выпить воды. И ваша машина тоже. Похоже, ей это нужно не меньше, чем вам. Колодец – вот тут. Нет, это «фиату». Вам я принесу из дома.

Огарев вошел в кухню – прохладная пористая плитка под ногами, дубовый громадный стол. Хлеб и чеснок. Соль и перец, мед и молоко. Вода из-под крана, которую можно пить. Воздух, пригодный для жизни. Обитаемая планета. Он набрал полный кувшин, глиняный, гладкий, родом из города, с той улицы, что сворачивает прямо к площади, на которой перестали казнить всего двести лет назад. Паола, пухлая, смешливая, сама вылепила этот скудельный сосуд и сама расписала – вот, видите этот кривой рукотворный цветок, эту синюю завитушку на гнедой обожженной глине. Они все отсюда родом – Паола и ее глина, и этот кувшин, и сын Паолы, Томазо, тоже пухлый, смешливый, умеющий принимать кредитные карты (очень сложно, Паоле вовек не научиться!) и терпеть материнскую любовь. Скоро закат, конец торговли, и Томазо вырвется наконец из лавки, опостылевшей за тысячу лет, оседлает под причитания матери пестрый скутер и рванет на дискотеку, крутить задом под вечнозеленую «феличиту», взростеть, перемигиваться с надменными девчонками. Огарев разрезал лимон, выдавил в воду. Оторвал пару листков с живущего на окне базилика, размял в пальцах. Пахло жизнью. Все как ты мечтала, Маля. Все как я мечтал.

Июль. Италия. Ферма. Солнце. Толстой. Набоков. Белль.

Вы бы видели, друзья, какая у меня уродилась капуста.

Хохлы выпили по полному стакану. И еще по одному. Вкусно. Не голодные? Нет. Из последних сил – вежливо. Достоинство нищих. Огарев сходил в дом еще раз и принес им по

ломтю пресного хлеба и круг перченой оранжевой кабаньей колбасы. Оливковое масло, зеленое. Пахнет травой. Горячие, пряные, совсем кубанские на вкус помидоры. Как в детстве.

Спасибо, хозяин.

Я не хозяин. Я здесь просто работаю.

Отвернулся, чтобы не видеть, как они приуныли. Даже жевать перестали. Работяги, небритые, неудачливые, уже, к сожалению, немолодые. Блудные православные души в католической легкой стране. Не повезло. Шли бы вы в протестанты, парни. Не пришлось бы искать работу. Она бы сроду от вас не ушла, так и вертелась бы рядом, словно собака, мечтающая о подачке. Да, не повезло. Даже не вам. Предкам вашим, что ушли когда-то из этих благословенных краев. Неудачники они были. Наши предки.

Огарев закурил, прищурился, поискал глазами – слава богу, вот. Маля стояла на крепостной стене и смеялась. Ветер то дергал ее за желтое платье, то пытался поцеловать сзади в шею, раздув тугие кудряшки. Она поежилась – щекотно – и помахала Огареву рукой. Эй! Ты меня видишь? Вижу. Конечно, вижу. Осторожно, а то упадешь. Казненный пятьсот лет назад мальчишка мелькнул у нее за спиной, подтолкнул легонько – словно хотел спихнуть вниз, и Огарев едва удержался, чтобы не пригрозить ему укоризненно пальцем. Бестолочь. Ну кто так играет, а? Она же испугается. Нет, не испугалась – снова засмеялась, отпихнула мальчишку локтем и показала Огареву издали, что – видишь, держись крепко, не волнуйся. Не упаду. Ветер еще раз дернул ее за подол, перекинул на лицо кудрявые волосы, совсем медные теперь. От тосканского света. От слез. Пропать под ее ногами лежала, раскинув громадные руки, нестрашная, полная птичьего гомона и вечерних, человеческих, радостных голосов. Даже отсюда Огарев видел красный лак на Малиных маленьких босых пальцах. На мизинце уже облупился немножко. Ей всегда нравился красный. Без малейшей примеси синего или золотого. Даже не красный – алый. Радостный цвет.

Из крепостных ворот вынырнул «ламборгини», похожий на очень красивый, но безжалостно расплющенный трактор. Как раз такого же радостного цвета, как и Малин лак. Вильнул пару раз по дороге, помнившей не только древних римлян, но и этрусков. Курчавые синие бороды, смешливые женщины в янтарных бусах, откровенно греческие, плутовские рожи на расколотых вазах. Прежде, еще до них – вилланова культура, еще раньше – террамары. Второе тысячелетие до нашей эры. Погребальные урны. Крикливые торговцы. Отменные бронзовые ножи. Ласковые быки, бредущие краем неба. Протоиталики. Пралюди. Тоже смеялись, плакали, ревновали. Целовали своих девчонок. Оплакивали драгоценный прах. Прислушивались к темноте, в которой еле слышно дышали дети. Самый младший чуть-чуть храпит – аденоиды, конечно. Слава богу, всего лишь вторая степень. Оперировать? Нет. Ну конечно нет. Какой идиот вам это сказал?

Оседлавший «ламборгини» Мауро, прямой наследник этого вечного мира, выкрутил хищный руль на дороге, которую не было смысла менять, потому что она всегда вела прямо в рай. Бутылка вина булькала на заднем сиденье, в бумажном пакете мирно толкали друг друга боками толстая мортаделла и круг пекорино. Всего три месяца от роду. Соль, каменный пресс, овечье молоко. Бум. Заднее колесо поймало камешек, «ламборгини» опасно вильнул, чиркнув бортом готовно подставившую ладони пропасть.

Хохлы переглянулись. Ну надо же, сказал один из них нараспев по-русски. Купить себе такую машину – и не купить хорошо ездить.

Огарев засмеялся.

Киев, брусчатый спуск к Бессарабскому рынку, малосольные огурцы в мокром целлофановом пакете, Маля, сентябрь, украденный выходной.

Хохлы переглянулись еще раз.

Так ты русский, что ли? – спросил тот, что повыше, недоверчиво.

Огарев посмотрел на городскую стену. Замок Орсини был на месте, но Маля исчезла. Побежала, наверно, с этим шалопаем – подглядывать за туристами. Давно пора надрать ему уши, засранцу. А ей сказать, чтобы не возвращалась одна в темноте. Не давай другим мужчинам прикасаться к тебе. Не разговаривай с чужими.

Нет. Не русский, ответил он хохлам и только теперь вдруг понял – как совершенно, абсолютно счастлив.

Уже нет. Теперь – просто человек.